

БАШНЯ «ВЕРТИКАЛЬ» · КНИГА 1

18+

ЭТАЖ 41

Заперта с боссом



АЛИСА ВЕРТОВА

18+

Алиса Ветрова

Этаж 41. Заперта с боссом

«Издательские решения»

Ветрова А.

Этаж 41. Заперта с боссом / А. Ветрова — «Издательские решения»,

Вы уволены, Соколова. И не советую доказывать, что я ошибся. Он растоптал мою карьеру одним росчерком — даже не взглянув мне в глаза. Самый опасный человек башни. Я поднялась на его закрытый сорок первый этаж: доказать, что меня подставили. А лифт умер, связь умерла, и до утра нас тут двое. Одна ночь, которой не должно было случиться. А наутро он сказал то, после чего я сбежала. Не сказав, что теперь нас будет трое. Гарантированный счастливый финал, одна пара, без измен. 18+

© Ветрова А.

© Издательские решения

Содержание

Алиса Вертова	6
Глава 2. «Один день пропуска»	12
Глава 3. «Этаж, которого нет»	17
Глава 4. «Двое и темнота»	21
Глава 5. «Холод на двоих»	25
Глава 6. «Цифры, которые сходятся»	29
Глава 7. «Разговоры в темноте»	34
Глава 8. «Кто подписал приговор»	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Этаж 41. Заперта с боссом

Алиса Ветрова

© Алиса Ветрова, 2026

ISBN 978-5-0070-7485-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Алиса Вертова
ЭТАЖ 41
Заперта с боссом
Башня «Вертикаль». Книга 1
18+
Глава 1. «Вы уволены, Соколова»

Серая картонная коробка стояла на моём столе раньше, чем там оказалась я.

Обычная коробка из-под бумаги для принтера, с уже отогнутыми крышками, поставленная ровно по центру стола — будто кто-то заранее прикинул на глаз, сколько в неё влезет восемь лет человеческой жизни, и решил, что вполне влезет, ещё и место останется. Остановилась в проходе между боксами и какое-то время просто смотрела на неё, не понимая. Так смотришь утром на чужой зонт в своей прихожей: вещь знакомая, а откуда взялась и зачем — не складывается.

В правой руке у меня был стакан кофе, который взяла внизу, в кафе на втором, и который успел остыть, пока поднималась и пробиралась через опенспейс, здороваясь с теми, кто здоровался первым. Стакан был тёплый только с одного бока. Зачем-то отметила это — что тёплый с одного бока, — прежде чем заметила Гену.

Гена из службы безопасности стоял у моего стола и переминался с ноги на ногу, как мальчишка под дверью директора. Большой, неловкий, в форменной рубашке, которая на нём всегда выглядела на размер меньше нужного. Рядом, чуть позади, топтался охранник помоложе, незнакомый, и этот молодой очень внимательно изучал что-то за окном — серое июньское небо, кран на стройке через дорогу, голубей, — всё что угодно, лишь бы не смотреть в мою сторону. Так отводят глаза люди, которым неловко за то, что сейчас при них покажут.

В другой руке была распечатка. Четыре листа, ещё тёплые от принтера внизу, я их полночи собирала, чтобы сегодня с утра, пока начальник отдела не утонул в совещаниях, положить ему на стол и сказать: Игорь Семёнович, тут странность, и странность некрасивая. Цифры по «Меридиану», нашему дочернему девелоперскому подразделению. Цифры, которые не складывались, как ни верти. Нашла это случайно, в пятницу вечером, листала выгрузку уже одной ногой за дверью, в пальто, и зацепилась взглядом за то, мимо чего проходила сто раз, — и потом всё выходные оно не давало мне покоя, как заусенец, к которому возвращаешься языком.

— Соколова. — Гена смотрел не мне в глаза, а куда-то в подбородок. — Тебя на тридцать первый ждут. Велели проводить.

— И тебе доброе утро.

Поставила стакан на край стола. Не на свой угол, где у меня всегда стоял кофе, а на самый край, у прохода, — поставила и тут же отдёргнула руку, будто стол стал горячий.

За спиной опенспейс делал вид, что работает. Маринка из соседнего бокса так сосредоточенно читала почту, что я отсюда видела, как она не двигает мышкой. Двое стажёров застыли у кулера с таким выражением, словно кулер вот-вот заговорит и скажет что-то важное про их карьеру. Я знаю этот эффект. Когда у чьего-то стола появляется картонная коробка и человек из безопасности, все вокруг моментально, всем телом, вспоминают, как они страшно заняты и как их совершенно, ну вот совершенно не касается то, что происходит в трёх метрах.

— Гена. — Я кивнула на коробку. — Это зачем?

— Сказали, личные вещи. Чтоб собрать.

Посмотрела на коробку. Потом снова на распечатку у себя в руке. И вот тут под рёбрами стало очень тихо и холодно — тем особенным холодом, который приходит, когда ты уже всё поняла, но тебе ещё ничего не объяснили, и есть пара секунд, чтобы притвориться, будто не поняла.

Вещи собирать не стала. Пусть собирает тот, кто принёс коробку.

На тридцать первом меня завели не к руководству департамента, как я почему-то ещё надеялась всю дорогу в лифте, а в стеклянный аквариум отдела персонала в конце коридора. Прозрачные стены, прозрачная дверь, жалюзи, которые здесь предусмотрительно опустили. За столом сидела Лариса Петровна — наш директор по персоналу, женщина, которая на новогодних корпоративах поёт про рябину кудрявую с настоящей слезой в голосе, а в рабочее время умеет уволить человека так мягко и так насмерть, что он на выходе ещё извиняется за отнятое у неё время. Рядом с ней — мужчина, которого я не знала. Молодой, гладкий, в костюме, который был ощутимо дороже, чем носят юристы кадровой службы. Это тоже отметила. У меня профессиональная деформация: вижу, когда цифры не сходятся, в том числе цифры на ценнике чужого пиджака.

— Вероника Андреевна, проходите, присаживайтесь.

— Я постою, спасибо.

— Как вам удобнее. — Она развернула ко мне монитор плавным, отрепетированным жестом, каким стюардессы показывают, где выход. — Боюсь, разговор у нас будет неприятный.

На экране была переписка.

Мой рабочий мессенджер. Моя фотография в кружочке аватара — та самая, неудачная, с прошлогоднего пропуска. Моё имя. И диалог с внешним контактом, подписанным как сотрудник «Аркады» — это наш прямой конкурент в премиальном сегменте, мы с ними бодаемся за каждый крупный объект. В диалоге я — то есть кто-то, у кого моё имя и моё лицо, — пересылала наружу выгрузку по закрытым сделкам холдинга. «Как договаривались». И смайлик. Жёлтый, улыбающийся.

Смотрела на этот смайлик и думала о том, что у меня за всю жизнь не было привычки ставить смайлики в рабочих чатах. Я человек, который пишет «ок» без точки и считает это уже избыточно тёплым.

— Это не я.

— Вероника Андреевна...

— Нет, послушайте. — Я наклонилась к экрану, и в ту же секунду голос у меня предательски качнулся, поехал куда-то вбок, и я, чтобы выровняться, вцепилась взглядом в дату вверху диалога. В цифры. Цифры — это моё, на цифрах я стою твёрдо, когда подо мной всё остальное ходит ходуном. — Вот. Двенадцатое марта, четырнадцать ноль три. Двенадцатого марта в два часа дня я была на квартальной свержке. Двадцать второй этаж, большая переговорная, двенадцать человек, я докладывала по портфелю. У нас на свержке железное правило: вся техника закрыта, ноутбуки выключены, телефоны в ящик. — Я выдохнула, медленно, как учат, когда хочется сорваться. — Поднимите журнал бронирования переговорной. Поднимите логи моего входа в систему за тот день. В четырнадцать ноль три я физически не могла ничего никому переслать, я стояла у экрана с указкой.

Лариса Петровна и дорогой юрист переглянулись. Коротко, на полсекунды, почти незаметно — но я ловлю чужие взгляды так же, как чужие цифры, и этот взгляд поймала и прочла целиком. В нём было «ну вот, началось». Они не разбирались в моём деле и не собирались — они его исполняли, как исполняют постановление, спущенное сверху, не вникая, виноват ли тот, чью фамилию вписали в графу.

— Все необходимые проверки проведены службой безопасности, — ровно сказал юрист. У него был приятный, ничей голос, голос для зачитывания условий договора мелким шрифтом. — Факт передачи конфиденциальной информации конкуренту установлен и задокумен-

тирован. Трудовой договор с вами расторгается по соответствующей статье. Разглашение коммерческой тайны, утрата доверия.

Утрата доверия.

Слушала эти два слова и понимала, что кто-то над ними работал. Сидел и подбирал. Потому что эта формулировка в трудовой книжке означает ровно одно: аналитиком меня после неё не возьмут больше никуда. Ни в один приличный банк, ни в один фонд, ни в одну консалтинговую контору этого города, где все всех знают и звонят друг другу «навести справки». Меня не просто убрали с дороги — меня закапывали так, чтобы наверняка, чтобы я уже не отряхнулась и не вернулась.

— Я хочу копию.

Голос держался. Я даже почти удивилась, что он держится, — где-то отстранённо, как будто наблюдала за собой со стороны и ставила себе осторожную галочку: молодец, не сорвалась.

— Копию переписки. Копию заключения службы безопасности. Копию приказа. Всё, что вы мне сейчас предъявляете в качестве оснований.

— Внутренние материалы расследования передаче третьим лицам не подлежат, — сказал юрист тем же мелким шрифтом.

— Я не третье лицо. Я — лицо, на котором стоит весь ваш приказ.

Он чуть улыбнулся, одними глазами, без рта. Терпеливо.

— Тогда, — сказала я, — я подам в суд. И там они подлежат передаче по запросу. Все до единого.

Лариса Петровна вздохнула. Так вздыхают над человеком, который зачем-то усложняет жизнь и себе, и хорошим людям, и портит всем настроение прямо перед обедом, хотя можно было по-человечески. Она пододвинула ко мне через стол один-единственный лист. Приказ.

Взяла его и прочла так, как читаю отчётность, — не по словам, а сразу пятном, выхватывая, где зарыто. Преамбула, основание, ссылка на статью, «расторгнуть», «считать», «аннулировать». А внизу, в графе для подписи, стояла фамилия. И это была не фамилия Ларисы Петровны, и не фамилия директора нашего департамента, и вообще не та фамилия, которой полагается стоять под увольнением рядового аналитика с двадцать второго этажа.

Д. Корнев.

Смотрела на эти буквы дольше, чем нужно.

Дамир Корнев. Совладелец холдинга, человек, которого за глаза называют просто «хозяином», и все понимают, о ком речь. Видела его в жизни дважды, и оба раза издали, с галёрки, на годовом собрании. Он выходил на сцену под точечный свет, говорил минуты три, негромко, ровно, без единой бумажки в руках, — и зал на тысячу человек переставал дышать, как один. Я помню это ощущение зала: будто всем одновременно убавили звук. Я ещё подумала тогда, сидя где-то под потолком, что хотела бы однажды так уметь — входить и гасить шум одним тем, что вошла.

И вот его подпись стоит на бумажке, которая меня стирает.

Зачем, спрашивала я себя, глядя на эти две буквы и точку. Зачем человеку, который ворошит холдингом на двадцать с лишним миллиардов, лично, своей рукой подписывать увольнение аналитика, о существовании которого наверху никто и слухом не слыхивал? Я для тридцать девятого этажа — пустое место, строчка в штатном расписании, фамилия без лица. И вдруг — его росчерк, персонально, на моём приговоре.

— Корнев. — Я подняла глаза на Ларису Петровну. — Он это читал? Он сам смотрел на даты? Он вообще в курсе, кого увольняет?

— Приказ подписан в установленном порядке, Вероника Андреевна.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Вероника Андреевна. — Она сложила руки на столе, одна поверх другой, и в её голосе наконец прорезалось то, ради чего, в сущности, и держат таких людей на таких местах: усталое, тысячу раз отрепетированное милосердие палача, который и правда тебе немного сочувствует. — Не усложняйте себе. Я по-хорошему говорю. Уйдёте спокойно, без шума — я лично прослежу, чтобы в трудовой была нейтральная запись, по соглашению сторон. Пойдёте воевать — пойдёт статья, и я уже ничем не помогу. Подумайте о своём будущем.

И вот тут, на слове «будущее», у меня внутри отчётливо, как включённое радио, заговорила мать.

Она говорила это всю мою жизнь, пока тянула меня одна, на две работы, в съёмной однушке у кольцевой: рассчитывай только на себя, Ника. Только на себя. Потому что в тот самый момент, когда тебе действительно понадобится рука, рядом не окажется никого, и хорошо ещё, если просто никого, а не того, кто этой рукой тебя и толкнёт. Я ненавидела эту фразу всем своим подростковым существом. Выросла на ней, как другие дети растут на сказках про принца, — и вот стою в стеклянном аквариуме, и фраза оказывается права, в который уже раз, и от этой её правоты тошнее всего.

— Я подумаю о своём будущем, — сказала я и забрала лист с приказом со стола.

— Это не ваш экземпляр.

— Я уже прочитала.

Положила лист обратно. Можно было не забирать — то, что мне с него нужно, уже лежало у меня в голове, в той её части, которая не умеет забывать цифры, даже когда очень бы хотела.

Меня вывели. Гена нёс коробку, в которой к тому моменту уже лежало всё, что составляло мои восемь лет: кружка с отколотым краем, из которой я пила, потому что отколотый край мой и удобный; зарядка, чужая, я так и не вспомнила чья; фотография мамы в деревянной рамке; и кактус. Маленький, кривой, в горшке размером с напёрсток, переживший трёх моих начальников и одну реорганизацию, и поливала я его примерно раз в месяц, по большим праздникам. Восемь лет. Я пришла сюда испуганной стажёркой, которая не решалась заговорить в лифте, научилась читать чужие балансы как чужие письма, вытаскивала из отчётов то, мимо чего спокойно проходили люди вдвое меня старше и вдвое дороже, — а в итоге меня заметили ровно настолько, чтобы аккуратно, вместе с кактусом, вынести за дверь.

В лифте я наконец осталась одна.

Створки сошлись, отрезали коридор, и аквариум, и всю башню с её девизом, который тут светится белым над каждой кнопкой и в каждом холле: *Только вверх.* Кабина мягко пошла вниз. Смотрела на своё отражение в тёмных полированных дверях — спина прямая, подбородок поднят, лицо как на собеседовании в день, когда очень нужна работа. Хорошая девочка. Сильная девочка. Девочка, которая не плачет при свидетелях.

И только здесь, в этих восьми квадратных метрах между этажами, где меня не видела ни одна живая душа и ни одна камера — я знаю, где они тут висят, а в лифте их нет, проверяла когда-то от скуки, — я позволила себе.

Не рыдания. На рыдания не было ни сил, ни, честно говоря, времени. Просто две горячие дорожки скатились по лицу, быстрые, злые, и я тут же стёрла их тыльной стороной ладони, размазав тушь к виску. Шмыгнула носом. Цифры на табло над дверью убывали: тридцать, двадцать девять, двадцать восемь. Кружка тихонько стучалась о рамку в коробке у меня в руках при каждом замедлении.

Меня обокрали. Во второй раз в жизни.

Первый был четыре года назад — другой человек, другая история, он называл меня умницей и приносил мне кофе, а потом тихо взял мой анализ, поставил на титул своё имя, ушёл на повышение и улыбнулся мне на лестнице так, будто мы оба знаем какую-то общую милую тайну. С тех пор я кое-что усвоила, и сегодня оно подтвердилось вторично: доверись — обворуют. Выборка из двух наблюдений, и оба легли в одну точку.

Вдохнула, медленно, считая про себя, как учат на тренингах, которым я никогда не верила. Слезы можно потом. Сначала надо подумать.

Меня подставили чисто. Дорого и чисто, и на таком уровне, что подпись поставил человек с тридцать девятого этажа. Кто-то заказал не просто мою голову — мою репутацию, чтобы я уж точно не отмылась и не вернулась. И единственная во всём мире причина, по которой кому-то наверху это вдруг понадобилось, лежала тут же, в коробке, между кружкой и кактусом — четыре тёплых листа про «Меридиан». В пятницу вечером, от скуки и въедливости, я приподняла камень, под который кто-то очень не хотел, чтобы заглядывали. А под камнем оказалось столько, что меня решили убрать одним росчерком сверху, не размениваясь.

Значит, нужны доказательства. Не слова, не «честное слово, это не я» — доказательства. Оригинал той переписки. И логи доступа: кто и с какого устройства входил в систему под моим именем и лепил эту фальшивку, пока я с указкой стояла в переговорной. Без них я — истеричка с волчьим билетом, которая кричит «меня подставили», и таких в любом HR видели сотню. С ними — у меня появляется шанс.

Кабина замедлилась плавнее. Девять, восемь, семь. И ровно в этот момент, словно дождавшись, пока я перестану плакать и начну считать, всплыла строчка из приказа — та, которую я выхватила пятном вместе со всем остальным и отложила, не разглядывая, в дальний ящик.

Доступ электронного пропуска №22—0417 аннулировать в 23:59 текущей даты.

Сегодня. Не завтра, не «по факту сдачи дел», не в течение трёх рабочих дней. Сегодня, без одной минуты полночь, моя карта станет куском мёртвого пластика. А до тех пор — до тех пор у меня в кармане лежит действующий пропуск и почти пятнадцать часов, в течение которых вся система этой башни официально, на голубом глазу, продолжает считать меня своей.

И где-то полгода назад мне об этом проболтался Серёжка из айти.

Мы сидели с пивом после какого-то унылого тимбилдинга, и он, размякнув, костерил архитектуру их хранилища — идиотскую, как он выражался, наследие нулевых, всё свалено в одну кучу. Вся закрытая переписка холдинга, все логи доступа, все оригиналы — не на двадцать втором, не в обычной серверной внизу, а сведено в один большой архив. Наверху. Там, куда в обычном лифте просто нет кнопки. Куда, по слухам, поднимаются по отпечатку пальца три с половиной человека на весь холдинг.

На сорок первом.

И вот тут до меня дошло. Медленно, по нарастающей, тем самым холодком, с каким доходит сумма, которая не сходится в чужом отчёте, — когда ты уже видишь ошибку, но ещё не веришь, что её и правда никто до тебя не заметил.

Сорок первый — это ведь не просто «архив».

Сорок первый — это его этаж. Кабинет за дверью без таблички, лифт без кнопки, отпечаток пальца вместо ключа. Файлы, которые меня оправдают, лежат в нескольких метрах от человека, который не глядя подписал мне приговор. Чтобы доказать, что я не воровка, мне нужно стать ею — на одну ночь, в его башне, у него прямо над головой.

Двери разъехались, и в лицо мне дохнуло холодом и простором лобби. Мрамор под ногами, мрамор на стенах, ресепшн с девочками в одинаковых блузках цвета пыльной розы, мягкий свет, и над линией турникетов, ровным благородным золотом, опять оно: *Только вверх.* Гена донёс коробку до стойки охраны, поставил и посмотрел на меня снизу вверх, виновато, как большая собака, которой велели сделать гадость.

— Ника, ты это... не держи зла, а? Работа такая. Сказали — я выполнил.

Я взяла коробку. Тяжелее, чем казалась. Кактус качнулся в своём напёрстке, но устоял.

— Не держу, Гена.

Пошла к турникету. Приложила пропуск. Створка коротко пискнула, мигнула зелёным и пропустила меня наружу — туда, на улицу, к остановке, к тому, что начиналось теперь и чему я ещё не придумала названия. Турникет ещё ничего не знал. Для него я была своя.

И на этом зелёном «пик» я отчётливо поняла, что никуда не уеду. Не сегодня. Сегодня постою на остановке, доеду до дома, поставлю коробку в прихожей, переоденусь в человеческое — а вечером вернусь. Вернусь в эту башню, пока её турникеты и её система всё ещё, по доброте и нерасторопности, держат меня за свою. Поднимусь на сорок первый, туда, наверх, где меня заперли одним росчерком. И встречу с Дамиром Корневым на его этаже, в его глухой ночной час, на моих, а не на его условиях.

Один раз я уже видела, как от трёх его негромких слов перестаёт дышать зал на тысячу человек.

Теперь мне до зуда хочется посмотреть, как дышит он сам, когда напротив, на его этаже, в его час, стою одна я.

Глава 2. «Один день пропуска»

Дверь служебного туалета на двадцать втором закрылась за мной с тем же мягким пневматическим вздохом, что и всегда. И вот от этой обычности — оттого что дверь не знала, что я тут больше не работаю, и вздыхала мне в спину ровно так же, как вздыхала восемь лет подряд, — на секунду подогнулось что-то под коленями, и я схватилась свободной рукой за дверной косяк, как будто пол под кафелем вдруг пошёл под уклон.

Коробку я поставила на широкий бортик у раковин. Не на пол — на полу её сразу видно из-под двери, а мне не нужно было, чтобы кто-нибудь, заглянув по нужде, узнал мой кривой кактус в напёрстке и пошёл по этажу разносить, что Соколову, говорят, вынесли, вон и вещи её в дамской комнате брошены. Коробку эту я зачем-то притащила обратно наверх, и логики в этом было ровно ноль: уволенного человека, которого только что под локоток вывели из здания вместе с цветком, в это здание уже не возвращают, а я приложила пропуск на турникете внизу и поднялась — потому что куда мне ещё. Домой, с коробкой на коленях, в полупустом дневном автобусе, мимо рекламных щитов с детским питанием, реветь в холодное стекло? Нет. Сначала надо было подумать. А думать я умела только в движении и только там, где меня ещё вчера держали за человека.

В зеркале — я.

Тушь уже подправила в лифте, размазанное к виску стёрла послушавленным пальцем, и теперь видно было только, что глаза подведены чуть гуще обычного да что под ними рано для моих лет залегла тень. Открыла кран и набрала в ладони воды — холодной, такой, что ломило косточки, — но в лицо не плеснула, макияж было жалко, на второй слой меня сегодня не хватило бы. Просто держала руки под струёй, долго, бессмысленно, пока пальцы не начали ныть, а ломота не дошла до запястий, до локтей. И где-то в этой ломоте, как ни странно, голова и прояснилась.

Так. Кто.

Закрyla кран, вытерла руки бумажным полотенцем — оно тут жёсткое, дешёвое, рвалось не там, где надо, я все восемь лет тихо ненавидела эти полотенца, а сейчас вдруг поймала себя на какой-то глупой нежности к ним, к этой их шершавой казённой надёжности, — и начала раскладывать по полочкам то, что весь вчерашний вечер крутилось во мне бесформенным комом и не давало уснуть.

В пятницу я наткнулась на «Меридиан». Наше девелоперское, премиум, гордость холдинга, объекты на первых полосах деловых изданий. В выгрузке по межкомпанийным расчётам у них сходилась оборот, но не сходилась смысл: деньги под видом оплаты подрядных работ уходили в три конторы, которых я в жизни не видела ни в одном нашем тендере, а от них утекали дальше, и след растворялся в управляющих компаниях с именами вроде «Капитал-Резерв» и «Профинвест-Групп» — в именах, специально придуманных так, чтобы взгляд об них не зацепился и заскользил мимо. Суммы по отдельности — копейки на их-то фоне, мелочь, которую и проверять никто не станет. А вместе, за полтора года, накапливалось больше, чем «Меридиан» заработал на двух своих главных стройках. Кто-то аккуратно, по чайной ложке, по капельке, вычерпывал целое подразделение изнутри. И делал это давно, и делал спокойно, как человек, твёрдо уверенный, что под этот камень никто не сунется.

Я сунулась. В пятницу, уже в пальто, одной ногой за дверь.

А в понедельник, прежде чем нести всё это начальнику отдела, я — умная, осторожная, всё на три хода вперёд просчитывающая Соколова — пошла посоветоваться.

Вот тут, в зеркале, я с собой и встретилась глазами.

Я ведь не пошла прямо к Игорю Семёновичу. Рассудила, что сперва прошупаю наверху, по-тихому, по-умному: дело пахло не ошибкой замотанного бухгалтера, дело пахло кем-то с

весом, и мне совсем не хотелось орать о своей находке на весь департамент, пока я не пойму, на чью мозоль наступаю. И отнесла свои четыре листа — не Игорю Семёновичу. Отнесла их выше. Человеку, который однажды, на отраслевой конференции, в перерыве между секциями подошёл ко мне сам, запомнил мою фамилию с бейджа и сказал, что у меня редкий нюх на грязные сделки и что если когда-нибудь понадобится умный собеседник наверху — его дверь для меня открыта.

И я, дура, постучала.

Имя пока не стала называть даже про себя. Назвать — значит поверить до конца, а если поверю до конца, то от одного осознания, какая это высота, у меня прямо сейчас откажут ноги, а мне ещё отсюда выходить, и выходить ровной походкой, мимо ресепшна, мимо охраны, мимо всех. Но факт ложился на факт с той тошнотворной аккуратностью, с какой сходится в столбик хорошо сделанная мошенническая отчётность: в среду я показала ему бумаги. В пятницу следующей недели меня уволили с волчьим билетом, по статье, которую за неделю фабрикует только если очень торопятся и если на это выделен бюджет. И между этими двумя датами не помещалось ровным счётом ничего, кроме одного-единственного вывода: человек, которому я доверчиво принесла свою находку, и есть тот самый человек, под которого я копнула.

Я оперлась обеими руками о край раковины и какое-то время просто стояла и дышала, глядя, как капля срывается с крана и беззвучно уходит в слив.

В сумке у бедра вздрогнул телефон. Я знала, кто это, ещё до того как полезла за ним, — по короткой нетерпеливой дробе вибрации, так звонил только один человек на свете.

— Никуся! — Голос Майи ворвался мне в ухо вместе с уличным гулом, она вечно звонила на ходу, на бегу, на эскалаторе, в очереди, и голос у неё всегда был такой, будто она минуту назад увидела что-то невозможно прекрасное и просто не могла дотерпеть, чтобы не рассказать. — Слушай, я тут в твоём районе случайно оказалась, давай я к тебе вечером завалюсь, с вином и наглостью? У меня заказ сорвался, мне позарез надо тебе пожаловаться на всё человечество разом, и ещё я нарисовала тебе кое-что, ты упадёшь, честно.

Майя младше меня на три года и легче — на целую жизнь. Она рисует, верит людям с первого взгляда и с первого слова, трижды влюблялась в мужчин, которые этого не стоили, и трижды отряхивалась и шла дальше, не растеряв по дороге ни грамма своей упрямой убеждённости, что уж в следующий-то раз всё будет иначе. Я бы хотела сейчас её обнять. Хотела бы сесть с ней на пол у неё на кухне, под её дурацкими бумажными гирляндами, которые висят с прошлого Нового года, и положить голову ей на плечо, и сказать тихо: Майка, меня уничтожили, помоги. И ровно поэтому я ничего этого не сказала.

— Майка, привет. — Голос вышел ровным, я слышала его как бы со стороны и почти гордилась собой. — Сегодня никак. У меня тут аврал, мы кварталный закрываем, я до ночи буду в башне.

— Ты опять? — В её голосе сразу было всё вместе: и упрёк, и нежность, и привычная обречённость старшей и младшей, поменявшихся местами. — Ник, ну ты же живёшь в этом своём стекле. Ты там скоро ночевать останешься, под столом, в пальто.

— Закроем отчёт — отосплюсь за весь квартал разом. Обещаю.

— Ты всегда так говоришь. — Короткая пауза, в которой она, я точно знала, перекладывала телефон к другому уху, чтобы освободить руку. — Слушай, у тебя точно всё нормально? Голос какой-то...

— Какой?

— Не знаю. Прямой слишком.

Вот за это я её и любила, и за это же сейчас прикусила изнутри щёку. Майя ничего не смыслила в цифрах, путала дебет с кредитом и совершенно искренне полагала, что налоговую можно при случае разжалобить. Но человека она читала быстрее, чем я — чужой баланс.

«Прямой слишком». Поймала это по трём моим дежурным фразам, сквозь грохот улицы, не видя моего лица.

— Всё под контролем, — сказала я. И добавила, потому что одной этой фразы ей сейчас было мало, она почувствовала бы за ней обрыв и начала тянуть: — Честно. Просто запара дикая. Давай лучше в выходные, я к тебе сама приеду, с вином и наглостью, и ты мне покажешь то, от чего я упаду.

— Договорились. — Слышно было, как она там, на своей улице, улыбается. — Соколова. Ты это. Поешь хоть чего-нибудь, ладно?

— Ем прямо сейчас, — соврала я в стерильную тишину туалета, где из еды — одни жёсткие полотенца.

Она звонко чмокнула мне в трубку и пропала, и вместе с ней из туалета ушёл весь тот живой, тёплый воздух, что она успела сюда нанести за две минуты. Я осталась стоять с погасшим телефоном в руке. Соврала сестре. Спокойно, гладко, не моргнув, — ровно так же спокойно, как кто-то моим именем и моим лицом ставил жёлтые улыбающиеся смайлики в чате с человеком из «Аркады». От этой нечаянной параллели меня повело, и я погнала её прочь: это другое, сказала я себе, вру, чтобы её не втянуть, чтобы она не примчалась со своим вином и своей верой в людей в самую середину чего-то, у чего есть бюджет и сорок один этаж.

Так. Дальше думать.

Доказательства. Я знала, где они лежат. Серёжка из айти, ещё полгода назад, размякший и разговорчивый после унылого тимбилдинга, костерил их хранилище — «помойку нулевых», куда свалено всё подряд, в одну кучу: переписка, логи доступа, оригиналы. И всё это — не у нас на двадцать втором, не в обычной серверной внизу, а наверху, на сорок первом, за биометрией. То, что меня оправдает, лежало ровно под человеком, чья подпись стояла под моим приговором. Красиво устроено. Просто восхитительно красиво.

Но прежде чем строить весь план на пьяной болтовне айтишника, надо было хотя бы убедиться, что я тогда верно его поняла. Потому что план, который держится на «мне один человек как-то по пьяни обмолвился», — это не план, это способ красиво и громко сесть.

Я подхватила коробку и пошла искать Серёжку.

Кафе на втором этаже в этот час — между завтраком и обедом — было почти пустое, и это мне было на руку: меньше глаз, меньше лишних ушей. Серёжку я отловила прямо у кофемашины, он как раз брал свой неизменный капучино с тремя сахарами, и при виде меня с картонной коробкой в руках лицо у него сделалось такое, что объяснять уже ничего не пришлось. По офису разнеслось. К полудню тут будут знать все, до последней стажёрки.

— Ник... — Он сунул стакан куда-то на стойку, не глядя, и тот опасно качнулся. — Это что, правда, что ли? Говорят, тебя...

— Угу. — Я поставила коробку на ближайший столик, у колонны, спиной к залу. — Серёж, мне нужно две минуты. Просто послушай, ничего делать не надо, обещаю.

Он сел напротив, осторожно, на краешек. У него было хорошее, простое лицо человека, который ни разу в жизни никого не подставил нарочно и до смерти боялся оказаться рядом с тем, кого подставили другие, — вдруг зацепит, вдруг прилипнет.

— Помнишь, ты мне зимой про ваш архив рассказывал? — сказала я негромко, машинально размешивая соломинкой в чьём-то брошенном, никому уже не нужном стакане с водой, лишь бы занять руки. — Про то, что у вас всё хранилище — наследие нулевых, всё в одну кучу свалено. Логи, переписка, оригиналы. Где это всё физически-то лежит?

Он замялся, отвёл глаза.

— Ник, я не...

— Я не прошу меня туда пускать. Боже упаси. Я просто хочу понять, правильно ли я тебя тогда расслышала. Это наверху? Сорок первый?

Серёжка оглянулся — быстро, машинально, той самой оглядкой человека, который и без того весь рабочий день оглядывается. Понизил голос почти до шёпота, наклонился ко мне через стол.

— Слушай. Я тебе ничего не говорил, лады? — Он ещё ближе придвинулся. — Да. Основное ядро — там. Но ты туда не попадёшь, даже не думай, забудь. Туда лифт по пальцу пускает, доступ у самой верхушки, человек пять на весь холдинг, не больше. И камеры на каждом метре, реально на каждом. Я там сам был всего два раза в жизни, и оба — с сопровождением из безопасности, которое от меня ни на шаг не отходило, в туалет чуть ли не за ручку. — Он мотнул головой. — Что бы ты там себе ни напридумывала — не надо. У тебя сейчас всё плохо, я понимаю. Но это просто плохо. А там станет очень плохо.

— Да ничего я не придумала. — Я улыбнулась ему так, чтобы он поверил и наконец выдохнул. — Мне правда надо было только понять, по-настоящему ли меня оформили или это можно ещё как-то оспорить. Спасибо, Серёж.

Он посмотрел на меня недоверчиво, явно хотел сказать что-то ещё, удержать, но в кафе как раз вошёл кто-то из его отдела, махнул ему издали, и Серёжка схватил свой капучино и испарился с откровенным облегчением человека, которому дали законный повод не продолжать этот разговор.

Я осталась за столиком одна, с соломинкой в чужом стакане.

Камеры на каждом метре. Лифт по пальцу. Пять человек на весь холдинг. Всё, что сказал сейчас Серёжка, — это, если по-честному, аккуратный перечень причин, по которым нормальный взрослый человек встаёт из-за столика и идёт к выходу, на остановку, домой. Я сидела, прокручивала в голове эти причины одну за другой и вдруг поймала себя на том, что внутри у меня вместо положенного страха медленно, холодно разворачивалось совсем другое — азарт игрока, которому сдали заведомо безнадёжную руку, а он вдруг разглядел в ней одну-единственную, нелепую, почти невозможную лазейку.

Потому что было «но». Маленькое, тупое, чисто техническое «но», за которое намертво цеплялся мой въедливый, не умеющий вовремя останавливаться мозг.

Лифт по пальцу — это для тех, у кого нет пропуска. А мой пропуск действовал до 23:59 сегодняшнего дня. Я ведь не один из тех трёх с половиной человек с зашитой в систему биометрией. Я — карта, которую аннулируют только в полночь и которую система прямо сейчас, в эту самую минуту, всё ещё считала живой и действующей. И весь вопрос был не в том, есть ли у меня право подняться, — права не было ровным счётом никакого, меня вывели из здания два часа назад. Вопрос был в другом: спросит ли железка про это право — или просто сверит по базе, не сдох ли пропуск, увидит, что не сдох, и пропустит.

Ответа на этот вопрос я не знала. И именно поэтому мне до зуда надо было его узнать.

Я допила до дна остатки чужой воды, как будто это хоть как-то придавало моей затее законности, — глупый жест, я сама понимала. Встала. Коробку решила оставить тут, под столиком, у колонны: таскать кривой кактус за собой по режимным этажам — верх идиотизма, а вернусь за ним потом или не вернусь вовсе, выяснится как-нибудь само. Сверху на кружку и рамку с маминой фотографией положила свёрнутую в трубочку распечатку про «Меридиан» — единственное, что мне сейчас по-настоящему было нужно. И пошла к лифтовому холлу. Не к привычным пассажирским лифтам с подсвеченными столбиками кнопок, а в дальний, глухой угол, где стоял он. Спецлифт. Я ходила мимо него восемь лет и ни разу всерьёз не задумалась, что он вообще тут есть, — так не задумываешься о двери, в которую тебе не надо.

Узкая кабина из тёмной полированной стали — не грузовая, со створками в пол, а вся сплошная, гладкая, глухая, дорогая на вид. Внутри никаких кнопок с этажами — я заглянула, предварительно убедившись через стекло холла, что в углу никого нет и никто не видит. Только панель сбоку: матовый чёрный квадрат сканера, под ним узкая щель для карты, а над ним — крошечный красный огонёк, ровный, неморгающий, как чей-то глаз, который смотрел на меня

и ждал, что я сделаю дальше. Сорок этажей подо мной, и над всеми ними — один-единственный, которого как бы и не было.

Сердце колотилось высоко, у самого горла, я почти чувствовала его языком. Пальцы были холодные, и не от климат-контроля вовсе, а от ясного понимания, что сейчас сделаю что-то такое, после чего отступить будет уже попросту стыдно.

Я достала пропуск. Тёплый от ладони прямоугольник пластика с моей неудачной фотографией — той самой, прошлогодней, с собрания, где я вышла с полузакрытыми глазами. До полуночи он был ещё мой.

И приложила его к сканеру — наугад, от злости, от усталости, без всякой веры, просто чтобы услышать короткий оскорблённый отказ железки и пойти наконец на остановку с чистой, спокойной совестью человека, который хотя бы попробовал и честно получил по носу.

Сканер коротко гуднул. Считал.

И красный глаз над щелью моргнул, погас — и загорелся ровным, спокойным зелёным.

Глава 3. «Этаж, которого нет»

Зелёный огонёк на считывателе спецлифта горел ровно, без мигания, как будто так и надо, как будто я тут ходила каждый день.

Стояла и смотрела на него дольше, чем нужно. Старый пропуск, тот самый, что должен был умереть в 23:59, лежал в считывателе плашмя, и под стеклом тихо тлело зелёное — то самое, которое минуту назад было красным, когда я только подошла и приложила карту наугад, от злости и упрямства, ни на что особо не рассчитывая. И вот оно сменилось. Двери разъехались. Кабина внутри — не как обычные лифты вниз, с зеркалами и бегущей строкой про скидки в кафе на втором, а тесная, обшитая тёмным деревом, без единой кнопки. Только узкая прорезь под карту да круглый глазок сканера. Никаких этажей на выбор. Этот лифт ходил в одно-единственное место и обратно, и из самой его тесноты было понятно, что выбора тут не предполагали.

Я зашла. Двери сошлись за спиной мягко, без звука, и отрезали подземный паркинг, бетонные колонны, мою машину между чужими, запах резины и сырости — всё то нормальное, дневное, человеческое, что осталось снаружи. Внутри пахло ничем. Дорогим ничем — так пахнет в бутиках, куда я не захожу, и в приёмных, где меня заставляют ждать.

Кабина пошла вверх. Без рывка, без того знакомого проседания в коленях, к которому привыкаешь за восемь лет в башне, — просто давление в ушах, едва заметное, как в самолёте, и понимала, что меня поднимает, только по нему. Над дверью не было табло. Я не видела, какой этаж. Ехала в темноте цифр, считала про себя секунды и сбивалась, и от этого время в кабине будто загустевало, как остывающий мёд.

Переоделась дома. Сняла блузку и юбку, в которых меня выносили вместе с кактусом, — они мне теперь были как кожа после ожога, не хотелось к ним прикасаться, — и надела чёрные джинсы, тёмный свитер, кеды. Так одеваются, когда не хотят, чтобы их запомнили. Даже усмехнулась этому в прихожей, перед зеркалом: посмотрите на неё, промышленный шпионаж. Аналитик инвестдепартамента, которая за всю жизнь однажды унесла домой казённую ручку и потом полночи переживала, не вычтут ли её из зарплаты. А теперь стояла в лифте без кнопок и боялась дышать ровно.

Коробка осталась дома, в прихожей, на полу, я её даже не разобрала. Кактус зачем-то полила. Стояла над ним с кружкой воды, в пальто, и думала: вот хоть кто-то тут ни в чём не виноват.

Давление в ушах отпустило. Кабина замедлилась — так плавно, что я поймала это не телом, а животом, тем местом, где обычно сворачивается страх. Остановилась. Где-то внутри стены тихо щёлкнуло, отработал невидимый механизм, и я вдруг очень ясно поняла, что сейчас двери откроются, и за ними будет он. Сидит за своим столом без таблички, в своём кресле, в десять вечера, потому что такие, как он, не уходят домой в шесть. Сейчас створки разъедутся, и я скажу — что? Не придумала, что скажу. Всю дорогу сюда придумывала, как поднимусь, и ни секунды — что будет потом, как будто верхняя площадка этой лестницы заканчивалась обрывом, и дальше я просто не смотрела.

Двери открылись.

За ними — никого.

Темнота, не сплошная: где-то в глубине этажа теплился мягкий дежурный свет, низкий, рассеянный, идущий будто из самого пола. Тихо так, что я слышала собственный пульс — он стучал где-то высоко, в горле, частил. Сделала шаг — и нога утонула.

Ковёр. Я не сразу поняла, что не так с полом, а потом дошло: он съедал звук. Сделала ещё шаг, нарочно сильнее, припечатала кед к ворсу — и ничего, ни стука, ни шороха, как будто шла по толще снега или по чьему-то очень глубокому сну. За восемь лет в этой башне

я привыкла к ровному фоновому гулу: вентиляция, чьи-то шаги, кулер булькает, лифт звенит, кто-то смеётся через два бокса, кто-то греет в микроволновке вчерашний обед, и весь этаж пахнет этим обедом до вечера. Здесь всё это было выключено. Не приглушено — вынуто, как вынимают из комнаты мебель. Я стояла на сорок первом этаже, и в этой пустой, выметенной тишине у меня в ухе тоненько тянуло одну ноту, и я даже не понимала, снаружи она или это что-то внутри меня.

— Эй, — сказала я.

Шёпотом, как дура. Сама себя напугала. Никто не ответил. Ковёр проглотил и это, и моё «эй» провалилось в темноту, не оставив круга.

Я пошла вперёд, и коридор открылся в зал.

Стекло. Стена стекла от пола до невидимого в темноте потолка, и за ним — высота, огромная, чёрная, дышащая. Я невольно замедлилась. Работала на двадцать втором, знала, что такое город сверху, но это было в два раза выше, и это была ночь, и это было совсем другое. Подо мной лежал весь центр, мелкий и подробный, как разложенная на столе схема, по которой кто-то водит пальцем, объясняя план. Где-то там, в этой мелочи, была моя остановка, мой автобус, моя квартира с неразобранной коробкой. Красиво так, что на секунду я забыла, зачем пришла, — стояла, прижав ладонь к холодному стеклу, и просто смотрела на эту жизнь, в которой меня сегодня утром стало на одну единицу меньше.

Ладонь оставила на стекле туманный отпечаток. Я отдёрнула руку и тут же вытерла его рукавом — глупо, машинально, как будто замечала след. Сердце колотилось, и я отлично знала, что не от высоты.

Холодно. Только сейчас это заметила. Не как на улице, не сыро, а сухо и ровно: климат держал здесь свои, не людские градусы, словно тут берегли не человека, а то, что лежит на полках. Сквозь свитер уже пробиралось. Обхватила себя руками и пошла дальше, вдоль стекла, и схема города тянулась за мной справа, не отставая, перемигивалась красными точками на краях, и от этого мне ещё больше казалось, что меня кто-то ведёт.

Зал — это, похоже, и был весь этаж, одно на одно, без перегородок: огромная комната, поделённая не стенами, а смыслом. Тут — мягкие диваны вокруг низкого стола, тёмные, кожаные, на которых, по ощущению, никто никогда не сидел просто так, поджав ноги, с чашкой. Дальше — длинный стол для переговоров, латунные лампы вдоль него, выключенные, выстроенные в ряд, как солдаты на смотре. Ещё дальше, у глухой стены без окон, — рабочая зона: массивный стол тёмного дерева, кресло, и за ними, во всю стену, стеллажи. Дерево и латунь, дерево и латунь, и всё это блестело ровно настолько, насколько блестит то, к чему не прикасаются руками. Дорого и мёртво. Обвела взглядом весь этаж и поняла, чего тут нет.

Тут не было ни одной фотографии.

Ни на столе, ни на стенах, ни на полках. Ни жены, ни детей, ни собаки, ни глупого магнитика с моря, ни грамоты в рамке, ни даже сорванного с какого-нибудь приёма билетика, заложенного между бумаг. У последнего стажёра в нашем отделе на мониторе был наклеен котик и под монитором — три засохших мандариновых корки. У человека, который тут сидел хозяином, не было ни единого следа того, что у него вообще есть жизнь, в которой бывает хоть какой-то беспорядок. Как будто этаж нарочно вычистили перед тем, как меня сюда пустить. Как будто здесь не жили, а хранили.

Я подошла к стеллажам.

Не книги. Почему-то ждала, что будет похоже на библиотеку, обложки, корешки с тиснением, — а это были папки. Глухие корешки, одинаковые, тёмные, с маленькими ярлычками, и на ярлычках — не названия, а коды. Буквы, цифры, тире. Архив. Тот самый, про который мне полгода назад трепался размякший после третьего пива Серёжка из айти, костеря наследие нулевых: всё свалено в одну кучу, вся закрытая переписка, все логи, наверху, куда нет кнопки. Я стояла перед этой стеной кодов, и вместе с холодом этажа меня наконец отрезвило

понимание, зачем я тут. Не любоваться схемой города, не слушать тишину. Где-то здесь, среди этих корешков, лежала бумага с моим именем — настоящая, не та фальшивка, что мне совали в стеклянном аквариуме. Оригинал переписки, под которым кто-то поставил мою аватарку и жёлтый смайлик. И логи: кто, когда, с какого устройства входил под номером 22—0417, пока я с указкой стояла в переговорной и докладывала по портфелю двенадцати живым свидетелям.

Я провела пальцем по корешкам, слева направо, читая коды, и пыталась нащупать в них порядок.

Система была, я её чувствовала, но не понимала. Не алфавит, не даты — что-то внутреннее, департаментское, для своих, понятное трём с половиной людям на весь холдинг. Я аналитик, я умею вгрызаться в чужую логику, разбирать её по косточкам, пока она не станет моей, — но обычно у меня на это были дни, а не часы, и хорошая лампа, и кофе, и никто не стоял над душой. Достала телефон посмотреть время — экран вспыхнул в темноте слишком ярко, тут же прикрыла его ладонью, как спичку от ветра. 22:14. До полуночи — без малого два часа. В полночь моя карта умрёт, и я останусь тут заперта, как воровка, которая сама на себя надела наручники и сама же выбросила ключ за дверь.

Руки у меня дрожали. Не от холода, хотя я честно пробовала списать это на холод. Выдвинула первую папку.

Бумаги. Договоры, какие-то акты, подшитая переписка — официальная, не та, что мне нужна. Задвинула. Вторую. Третью. Пальцы плохо слушались, ярлычки скользили, одна папка чуть не упала, я поймала её у самого пола, прижала к груди и замерла, не дыша, — но тишина не изменилась, никто не шёл, только схема города за стеклом всё так же перемигивалась, равнодушная к тому, поймают меня или нет. Поставила папку на место, выровняла корешок вровень с остальными и вдруг поймала себя на дикой мысли: я ведь и правда сейчас крада. Технически. По их же статье. Если меня здесь застанут — мне больше нечего будет доказывать, я сама, своими руками, дам им идеальный финал к их сценарию, аккуратно подошью себя в дело.

Я заставила себя дышать медленнее. Думай, Соколова. Не суетись, как первокурсница на зачёте, у которой всё вылетело из головы. Логика доступа — это айти, это система, это не в бумажных папках, это надо искать в компьютере, а компьютер тут один, вон он, на столе, чёрный, спящий, и я к нему не притронусь без пароля, даже соваться нечего. Значит, переписка. Бумажный оригинал. Расследования службы безопасности подшивают, я это знала, у нас вообще всё подшивают, бумага в этой стране живучее людей. Где они держат кадровые дела с «утратой доверия»? Не среди договоров. Где-то отдельно, в стороне, не на виду.

Я пошла вдоль стеллажа дальше, к торцу, где корешки были чуть другие — потемнее, и ярлычки не печатные, а от руки. И вот тут, на нижней полке, в стороне от ровного строя, стояло то, что выбивалось.

Папка толще прочих. Не казённо-серая, а из плотного тёмного картона, обвязанная — настоящей тесьмой, как в старом кино, крест-накрест. И на ней не было кода. На ней от руки, чернилами, выцветшими до коричневого, было написано одно слово, и это слово — не код, не департамент, не дата.

Имя.

Я наклонилась, чтобы прочесть, и у меня пересохло в горле. «ВЬЮГИН А. — лично». И ниже, помельче, той же рукой, с нажимом, продавившим картон насквозь: «Вскрыть в случае».

В случае чего — обрывалось. Будто рука дрогнула. Или будто тот, кто писал, не смог дописать вслух даже для самого себя, что это за случай и чем он так страшен, что про него не пишут до конца.

Аркадий Вьюгин. Основатель. Человек-миф, которого полтора года никто не видел, который то ли лечился за границей, то ли — про это шептались в курилках на четвёртом, понизив голос даже там — давно уже не лечился нигде. Я работала в его холдинге восемь лет и ни разу не видела его живьём ближе, чем на огромном портрете в лобби, где он смотрел поверх всех

нас в какое-то светлое будущее, которое нам отсюда не разглядеть. И вот его имя, его рука, его тесьма крест-накрест — здесь, в полуметре от пола, на этаже, которого как бы нет.

Я не должна была это трогать. Это вообще было не моё дело. Мне нужны были логи и переписка, четыре листа про «Меридиан» в обратную сторону, а не чужие тайны весом в целый холдинг.

Я потянула руку к тесьме.

Не понимала, зачем. Это было против всякого здравого смысла, против моего же плана, против инстинкта самосохранения, который и без того уже орал во мне в полный голос, — но пальцы сами тянулись к выплывшему узлу, как тянутся к горячему, заранее зная, что обожжешься, и всё равно тянутся. Папка с именем человека, которого, может быть, уже нет. «Вскрыть в случае». А вдруг мой случай — как раз он. Вдруг то, что меня сегодня утром стёрли одним росчерком сверху, и то, что прятали здесь под тесьмой, — это одна и та же нитка, за конец которой я в пятницу вечером, в пальто, одной ногой за дверью, дёрнула, сама того не зная, и потянула, и где-то наверху, на сорок первом этаже, дрогнул весь клубок.

Узел поддался неожиданно легко, будто его и завязали-то не насовсем. Тесьма соскользнула с угла, картон чуть приоткрылся, и я увидела край листа — плотного, старого, с печатным текстом и от руки приписанным сверху, тем же коричневым нажимом...

За спиной щёлкнул замок.

Не громко. Сухо, коротко, металлически — но в этой ватной тишине этот щелчок ударил меня под колени, как выстрел в упор. И тут же, разом, погас дежурный свет. Не плавно, не мигнув на прощание — будто кто-то одной рукой опустил рубильник на весь этаж. Темнота упала целиком, и в ней осталась только схема города за стеклом, далёкая, холодная, бесполезная, и моё собственное дыхание, которое я теперь слышала во весь зал и никак не могла унять.

Папка выскользнула у меня из пальцев и упала на ковёр беззвучно, и от этой беззвучности почему-то было страшнее всего. Я не двигалась. Стояла спиной к двери, лицом к чёрной стене стеллажей, и каждым волоском, каждым позвонком знала, что я уже не одна.

Тишину разрезал голос. Низкий, ровный, без капли спешки. Голос человека, который никогда в жизни никуда не торопился, потому что всё всегда ждало его само, сколько надо.

— Вы хоть понимаете, где находитесь, Соколова?

Я медленно обернулась.

В дверях, на фоне слабого света из лифтовой шахты, стоял Дамир Корнев.

Глава 4. «Двое и темнота»

Я не обернулась сразу.

Глупо, конечно, — стоять спиной к человеку, который только что задал тебе вопрос таким голосом, будто захлопнул крышку. Но в первую секунду я почему-то была занята не им, а собственными руками. В левой была папка с чужим грифом, которую я подцепила со стеллажа за миг до его появления; в правой — телефон с открытой камерой, и обе руки нужно было куда-то пристроить так, чтобы это не выглядело ровно тем, чем являлось. Положила телефон экраном вниз на полку, не торопясь, словно у меня были на это все основания и всё время мира. Папку оставила где была. И только потом развернулась.

Дамир Корнев стоял в проёме той самой двери без таблички, через которую я сюда и зашла, и заполнял его собой целиком — не потому что огромный, он не огромный, а потому что умел встать в дверь так, что мимо тебя уже не выпустят. Без пиджака. Белая рубашка, рукава подвёрнуты до середины предплечья, верхняя пуговица расстёгнута — человек, которого застали за работой, а не на приёме. В руке у него был планшет, тонкий, в чёрном чехле, и держал он его опущенным, у бедра, как держат то, о чём забыли.

— Я задал вопрос, Соколова.

Тише, чем в первый раз. Я уже начинала понимать про этот его голос то, что понимают, видимо, все, кто хоть раз с ним работал: чем тише, тем хуже дело.

— Понимаю, — сказала я. — Где я нахожусь, на каком этаже, по чьему пропуску и с какими, очевидно, намерениями. На все четыре у вас уже есть ответ, который вам нравится. Зачем вам ещё и мой.

Он вошёл. Один шаг, второй — ковёр здесь был такой, что шагов не слышно совсем, и от этой беззвучности по коже шло что-то нехорошее: будто он не подходил, а проявлялся ближе, как изображение, которому добавили резкости. Остановился у длинного стола из тёмного дерева, положил на него планшет — ровно, параллельно краю. У него тут всё ложилось параллельно краю, я уже заметила; и в кадровом аквариуме на тридцать первом тот единственный лист с его подписью лежал так же.

— Воровка на месте кражи, — произнёс он задумчиво, будто пробовал версию на вкус. — С аннулированным к ночи пропуском. На этаже, куда нет кнопки. Знаете, сколько людей в этом здании могут сюда подняться?

— Три с половиной, — сказала я. — Мне называли цифру. Половинка — это, видимо, вы в плохом настроении.

Что-то прошло по его лицу. Не улыбка — для улыбки у него, по-моему, не было соответствующих мышц, — а короткое движение, как сбой кадра. Он не ожидал, что я отвечу. Люди, которых заводит сюда охрана и ставит перед хозяином башни, отвечают, надо думать, иначе: бледнеют, объясняются, плачут. У меня всё это было утром, в лифте; я отплакала свою норму на сегодня и пришла сюда не за добавкой.

— Меня подставили, — сказала я, пока он не начал снова. — Ту переписку я не отправляла. Двенадцатого марта, в момент якобы отправки, стояла на квартальной свёрке с указкой. Двенадцать свидетелей, журнал брони, логи входа. Кто-то залез в систему под моим именем и слепил фальшивку. А вы её подписали. Вот этой рукой. — Я кивнула на его правую, лежавшую на столе. — Не глядя на даты.

— Я подписываю в день по сорок кадровых решений.

— Вот именно.

Это вылетело раньше, чем я успела прикинуть, умно ли. Не умно. Но и не отозвать уже.

Он смотрел на меня долго. Не зло — хуже. С тем спокойным вниманием, с каким смотрят на цифру в отчёте, которая стоит не на своём месте и тихо портит весь итог. Этот взгляд я

знала изнутри, я сама так смотрю на чужие балансы, и мне впервые пришло в голову, как это, оказывается, неприятно — побыть той самой цифрой.

— Допустим. — Он произнёс это слово так, будто отщипывал от себя кусок. — Допустим на секунду, что человек, которого служба безопасности задокументировала как слившего данные конкуренту, говорит мне правду. Тогда объясните вот что. Зачем невинному человеку среди ночи пробираться на закрытый этаж по чужому — по своему, но уже почти чужому — пропуску? Невинные идут в суд.

— Невинные идут в суд с доказательствами. — Я сделала полшага к столу. — А доказательства — оригинал той переписки и логи доступа — лежат не в суде. Они лежат здесь. У вас. На сорок первом, как мне объяснили, всё свалено в одну кучу — наследие нулевых, дурацкая архитектура. Пришла за тем единственным, что может меня вытащить. И, кажется, пришла туда же, куда и вы.

Последнее сказала наугад. И попала — увидела это по тому, как он на долю секунды перевёл взгляд на планшет, который сам же положил параллельно краю. Хозяин башни не приходит в одиннадцатом часу, без пиджака, копаться в собственном хранилище, к которому имеют доступ три с половиной души, если у него дома всё в порядке.

— Вы здесь не затем, чтобы поймать меня, — сказала я медленнее. — Вы сами что-то ищете.

— Осторожнее, Соколова.

— Я всю жизнь осторожнее. Меня это, как видите, исключительно бережёт.

И вот тут погас свет.

Не весь сразу — сначала ушло мягкое верхнее, ровная дорожная подсветка вдоль стеллажей и под потолком; всё это оборвалось одним движением, будто кто-то снял руку с диммера. Этаж на мгновение провалился в чернильное, а потом по углам, низко, у самого пола, проступил другой свет — тусклый, синюшный, дежурный. Где-то в стене коротко и обиженно пискнула электроника, отрабатывая собственную смерть, и затихла.

Одновременно у меня в кармане дёрнулся телефон. Я выхватила его — не тот, что остался на полке, второй, личный, — и на экране, поверх обоев, была серая плашка: «Нет сети». Не одна палочка. Не «слабый сигнал». Ровный прочерк там, где всегда были палочки.

— Что это? — сказала я в полумрак.

Он не ответил. Он уже шёл — не к двери, а к стене у дальнего стеллажа, где, оказывается, была утоплена неприметная панель; при свете я бы её и не заметила. Провёл по ней пальцем, панель проснулась слабым свечением, он что-то нажал, подождал. Нажал ещё раз. В синем дежурном свете его лицо сделалось плоским, без полутонов, как лица на старых снимках.

— Тестирование, — сказал он наконец, и в его ровном голосе впервые проступило то, чего там до сих пор не было. Не страх. Раздражение человека, у которого из рук вынули рычаг. — Новый контур безопасности. Его должны были обкатывать в эти выходные. В холостом режиме, на пустом здании. Кто-то перенёс.

— На сегодня.

— На сейчас.

Он отошёл от панели к стеклу, к той самой панораме во всю стену, и я пошла за ним, потому что одной торчать в синей темноте у стеллажей почему-то было невыносимо. Внизу, за толстым стеклом, шла обычная человеческая ночь, до которой нам отсюда было не дотянуться, и весь этот свет был так близко и так наглухо отрезан, что под рёбрами завёлся тот же холод, что был утром, — когда уже всё поняла, а тебе ещё ничего не сказали.

— Спецлифт идёт по биометрии, — сказал он, не оборачиваясь, скорее себе, чем мне. — Биометрия завязана на контур. Контур сейчас перепрошивают. Пока он не поднимется и не отдаст управление обратно, лифт мёртв, замки на ручном, связь отрезана. Так задумано. Чтобы во время теста снаружи никто не влез.

— И долго он... поднимается?

— Регламент — до утра.

Два слова. Он положил их между нами ровно, параллельно краю, как всё, что делал, и только теперь я по-настоящему услышала, что они значат.

До утра.

Я стояла у холодного стекла, на этаже, которого нет в лифте, рядом с человеком, который сегодня утром стёр меня одним росчерком пера, и нас тут было двое, и до утра никто не поднимется и не спустится, и телефон в руке показывал ровный прочерк вместо мира.

— То есть мы заперты, — сказала я. Зачем-то вслух. Иногда вещь надо произнести, чтобы она стала настоящей; у меня так со всеми плохими новостями.

— Есть аварийная линия. — Он отвернулся от стекла. — Проводная. Отдельный контур, на тест не завязан.

Он пошёл через зал, и я опять пошла за ним — глупая привычка тела держаться того, кто хотя бы знает планировку, — мимо тёмного дерева, мимо латуни, которая в дежурном свете не блестела, а тускло тлела, в нишу, где на стене висел аппарат, какого я не видела, наверное, с детства: настоящий телефон, с трубкой на витом шнуре. Он снял трубку, прижал к уху.

Я слышала её даже отсюда, с метра. Не гудок. Не короткие «занято». Долгий, ровный, мёртвый звук — звук линии, которая ведёт в никуда.

Он держал трубку у уха ещё несколько секунд, дольше, чем нужно, чтобы понять. Потом аккуратно, без злости, повесил её обратно на рычаг и повернулся ко мне — медленно, всем корпусом. В синем свете я не видела его глаз, только тёмные провалы там, где они должны были быть.

— Аварийная тоже идёт через серверную, — сказал он. — А серверная — часть контура.

— То есть и она.

— И она.

Мы стояли в трёх шагах друг от друга, и весь его этаж — вся его тишина, все его толстые ковры, гасящие шаги, — смыкался вокруг нас, как вода над головой. Где-то под нами, на сорока этажах ниже, башня жила своей ночной жизнью: охрана, уборщицы, дежурный смены. И ни один из них даже не знал, что наверху, на этаже без кнопки, заперты двое.

— Поздравляю, Соколова, — сказала я себе под нос. — Из всех способов уйти красиво ты выбрала этот.

— Что?

— Ничего. Думаю вслух.

Он сделал шаг ко мне. Беззвучный — ковёр глотал всё, и оттого этот шаг казался длиннее, чем он был. Теперь я различала его лицо вблизи: синюшное, без обычной отглаженной гладкости, с резкой тенью вдоль скулы. И поняла, что человек, у которого только что отняли все рычаги управления собственным зданием, уже искал новый. Самый простой. Виноватого.

— Давайте уточним одну вещь, — сказал он, и тише, ещё тише, до того тихо, что мне пришлось замереть, чтобы расслышать. — Вы поднимаетесь сюда вечером. По пропуску, который сегодня аннулируют. На этаж, куда нет кнопки. А через двадцать минут после вас разом вырубается весь контур безопасности — лифт, связь, аварийная линия. И мы заперты вдвоём. Вы. И я.

— Вы думаете, это я.

— Я думаю, что не верю в совпадения такого размера. Я ими, в сущности, и зарабатываю — тем, что в них не верю.

— Гениально. — Я слышала, как мой голос звенел, тонко, на той ноте, которую обычно себе не разрешаю; но синяя темнота развязывала, отрезала от правил вместе со связью. — Меня уволили за то, чего я не делала. А теперь я ещё и устроила диверсию на вашем секретном контуре, к которому, по вашим же словам, имеют доступ три с половиной человека, и я в их

число не вхожу. Скажите, в этой версии я заодно и Вьюгина похитила? Раз уж мы тут всё на меня вешаем.

Он замер на этом имени. На полсекунды — но я ловлю чужие сбои, как ловлю чужие цифры, и этот поймала весь, целиком: то, как он на одно деление застыл, когда прозвучало «Вьюгин». Я ведь сказала наугад, выплюнула первое громкое имя башни, какое подвернулось под злой язык, — и попала во что-то, чего трогать не стоило. Во что-то, что лежало здесь, на этом этаже, под грифом, в папке, которую я не успела дочитать.

Я открыла рот, чтобы спросить. И не успела.

Потому что низко, в утробе здания, что-то поменяло тон. Не громко — но дежурные синие лампы по углам разом мигнули, просели почти до нуля и снова неохотно разгорелись, а в самой стене, глубоко, что-то тяжёлое провернулось с долгим механическим вздохом, будто башня во сне переваливалась на другой бок.

Дамир мгновенно повернул голову на звук. И впервые за весь вечер на его лице было не раздражение хозяина, у которого что-то пошло не по плану, а другое. То, чему я ещё не знала названия, но узнала сразу, телом, потому что оно было мне знакомо: так выглядит человек, который услышал звук, которого здесь быть не должно.

— Это не тест, — сказал он очень тихо.

— В каком смысле — не...

— Контур не перепрошивают по этому протоколу. — Он уже не смотрел на меня. Он смотрел в темноту за стеллажами, туда, откуда пришёл звук, и его правая рука, та самая, что подписала мне приговор, медленно сжималась в кулак. — Кто-то сейчас спускает этот этаж в полную автономию. Вручную. Снизу.

Синие лампы погасли окончательно.

И в наступившей черноте, где не было уже ни города за стеклом, ни его лица в трёх шагах, ни единой палочки сети, — только его дыхание и моё, — он произнёс, ровно и страшно, без единого вопросительного знака:

— Соколова. Кто знал, что вы сегодня сюда поднимаетесь.

Глава 5. «Холод на двоих»

Аварийная линия дала длинный мёртвый гудок, и Корнев положил трубку телефона на рычаг так аккуратно, будто она была горячей.

— Я ничего не подстраивала.

Он не ответил. Стоял у стены с панелью внутренней связи, спиной ко мне, и я видела только разворот его плеч под сорочкой да то, как он один раз поднял руку и провёл костяшками по подбородку, медленно, сверху вниз. Так делает человек, который привык, что любая запертая дверь открывается ему по первому требованию, и впервые за долгое время уткнулся в дверь, которой на него попросту наплевать.

— У меня в кармане лежит мёртвый пропуск, — сказала я ему в спину. — Карта, которую вашим же приказом аннулируют сегодня в без одной минуты полночь. Если бы я всё это подстроила, была бы редкой душой: заперла себя на ночь с человеком, который меня уволил, в месте, откуда мне самой не выйти. Логику видите?

Он повернулся. Лицо у него было гладкое и неподвижное, и от этой неподвижности мне сделалось зябко куда сильнее, чем от воздуха на этаже.

— Я вижу, что вы здесь. Там, куда у вас нет и не может быть доступа. Вижу, что вы стояли над архивом, когда я вошёл. И вижу, что ровно в эту ночь, когда вы здесь, башня глохнет. — Он сделал паузу, короткую, выверенную. — Для аналитика вы плохо считаете совпадения, Соколова.

— Тестирование системы безопасности назначили не вы?

— Назначил.

— На сегодня?

Он чуть склонил голову. И я с мелким, неуместным торжеством — единственным, какое было мне сейчас доступно, — смотрела, как у него сходится то, что не должно было сойтись.

— Значит, — сказала я, — про сегодняшнюю ночь точно знали вы, а не я. Я узнала о существовании этого этажа полгода назад, от пьяного аййтишника, и пришла наугад. Так кто из нас тут кого подстроил?

Он не сказал ничего. Развернулся и пошёл вглубь этажа, и я осталась стоять одна посреди зала, в котором было тёмное дерево, латунь и ни одной живой вещи. Ни брошенной чашки, ни забытого свитера на спинке кресла, ни единого следа того, что тут вообще кто-то когда-то жил. Зал держался так, будто его собрали под фотосъёмку для очень дорогого журнала и забыли разобрать.

Я пошла за ним. Не потому что доверяла. Просто одной в этой стеклянной коробке над пропастью было хуже, чем за его спиной.

За залом начиналось то, что в служебной легенде наверняка называлось «апартаментами»: кухня, открытая в гостиную, длинный остров из тёмного камня, дальше — короткий коридор, в который уходили двери. Заглянула в первую попавшуюся. Санузел: серый камень, латунный кран, идеально сложенные полотенца, к которым, судя по их безупречности, никто никогда не прикасался. Один туалет. Одна кухня. Где-то там, в глубине коридора, наверняка одна кровать, и я заранее, ещё не дойдя, решила, что до неё не дойду. Лучше скрючусь в кресле в зале, чем по доброй воле лягу в постель в его берлоге.

На кухне Корнев открыл холодильник. Свет лёг ему на лицо снизу, и в этом свете хорошо было видно, до чего там пусто: бутылка минералки, что-то в фольге, банка, лимон, прикипевший к полке на дверце. Так выглядит холодильник человека, который тут не живёт, а только иногда ночует, когда наверху что-то горит, а спускаться вниз уже не хочется.

— Воду будете? — спросил он, не оборачиваясь.

— Издеваетесь?

— Предлагаю воду.

— Я хочу домой. Воду мне предложить можете, а домой — нет. Включите лифт.

— Если бы мог, Соколова, меня бы тут не было.

И это было первое, что он сказал не как хозяин этажа, а как человек, который тоже застрял. Я зацепилась за интонацию так же, как цепляюсь за цифру не на своём месте. Он не наслаждался. Ему это нравилось ничуть не больше, чем мне.

Я обхватила себя руками. Сделала это машинально, не подумав, — а думать надо было, потому что он заметил. Он вообще всё замечал, это я уже усвоила: один взгляд, и сосчитано.

— Вам холодно.

— Мне нормально.

И тут, разумеется, по мне прошла крупная, видимая дрожь — организм решил выступить против меня ровно в ту секунду, когда я заявила, что мне нормально. На сорок первом и правда держали градусов на пять ниже, чем хочет живой человек, а моя блузка, рассчитанная на офис с его батареями, против такого годилась примерно как занавеска.

— Нормально, — повторил он. Без насмешки. Просто выложил мою ложь вслух на остров, рядом со своей минералкой, и оставил лежать.

Я отвернулась к панорамному стеклу. За ним была ночь, и где-то там, далеко внизу, в одном из светящихся прямоугольников, была моя квартира, и коробка с кактусом в прихожей, и собственная кровать, в которой я могла бы сейчас лежать и реветь по-человечески, а не дрожать в чужом холодильнике под взглядом своего палача. Успела даже придумать, как именно буду реветь. Подробно, с удовольствием. Потом одёрнула себя.

За спиной я слышала шорох. Обернулась — и не успела выставить колкость, заготовленную, кажется, на любой его жест.

Он снял пиджак.

Сделал это без единого слова, спокойно, как делают давно решённое: подошёл и опустил пиджак мне на плечи. Не накинул небрежно, не набросил сверху, а именно опустил, придерживая за лацканы ровно до того мгновения, пока ткань не легла как надо, и тут же убрал руки и отступил на шаг. Пиджак был тяжёлый, тёплый изнутри его теплом, и пах чем-то сухим и дорогим, кедром, что ли, и чуть-чуть им самим, и вот это последнее было хуже всего, потому что от этого запаха у меня в животе сделалось что-то совсем не предусмотренное планом.

— Мне не нужно, — сказала я, уже кутаясь.

— Я вижу.

Он вернулся к острову, оперся на него ладонями, и в одной сорочке, без пиджака, без этой брони из идеального кроя, вдруг стал на размер обычнее. Просто крупный мужчина в белой рубашке с зачем-то уже подкатанными рукавами, уставший, запертый, со складкой между бровей.

— Можете не благодарить, — добавил он, глядя в стекло. — Если вы тут окоченеете, мне потом отвечать. Вы пока ещё мой сотрудник. До полуночи.

— До без одной минуты, — поправила я. — Потом я ничья.

— Потом вы проблема следствия. — Он отпил воды. — Это другое.

Я плотнее завернулась в его пиджак, ненавидя себя за то, как в нём сразу стало теплее, и за то, что теперь его не отдам, хоть режь. Стою тут, кутаюсь в одежду человека, который меня растоптал, и грею об неё замёрзшие руки. Поздравляю, Соколова. Ниже падать почти некуда — разве что лечь в его кровать, но до этого мы, я очень надеюсь, не доживём.

— Зачем вы сюда пришли? — спросила я.

— Это мой этаж.

— Среди ночи. Один. К архиву. — Я кивнула в сторону зала, туда, где он застал меня над раскрытыми ящиками. — Вы не спать сюда поднялись. Вы что-то искали. И когда увидели

меня, вы не вызвали охрану — вы заперли дверь сами, своей рукой. Хозяин, у которого в доме поймали воровку, первым делом снимает трубку. Вы не сняли. Почему?

Он смотрел на меня долго. Взгляд у него был тяжёлый, не злой — оценивающий, как будто он прямо сейчас прикидывал, сколько я вешу и стоит ли вообще тратить на меня слова.

— Вы всегда так? — спросил он наконец.

— Как?

— Стоите в чужом капкане и допрашиваете того, кто его, по-вашему, поставил.

— У меня нет других занятий. — Я пожала плечами под его пиджаком. — Телевизора тут нет, поговорить больше не с кем. Остаётесь вы.

И вот тут оно случилось. Не уверена, что назвала бы это улыбкой, потому что лицо у него осталось ровно таким же, ничего не приподнялось и не дрогнуло, но где-то в самой глубине глаз на одно мгновение мелькнуло сухое, короткое, почти весёлое, как блик на тёмной воде, и тут же ушло, будто и не было.

— Вы голодны, — сказал он вместо ответа.

— Я зла. Это похоже, но это другое.

— Одно другому не мешает.

Он отлепился от острова и принялся методично, по-хозяйски обшаривать шкафы — не как человек, который тут живёт и знает, где что лежит, а как человек, который привык, что в нужный момент в нужном месте окажется то, что ему понадобилось, и слегка раздражается, когда не оказывается. В одном шкафу нашлась пачка галет и нераспечатанная коробка чая. В другом — ничего, кроме посуды, выставленной ровными стопками, как в витрине. Он поставил галеты на остров между нами, как трофей.

— Ужин, — сказал он.

— Богато.

— Альтернатива — лимон.

Я взяла галету. Сухая, пресная, как картон, а я не ела с самого утра, с того самого стакана внизу, который успел остыть и так и остался стоять на краю моего бывшего стола на двадцать втором. Целая жизнь назад. Грызла эту дрянь, стоя у стеклянной стены, кутаясь в его пиджак, и рядом стоял Дамир Корнев и тоже ел галеты, всухомятку, в одной сорочке, и всё это было до того дико, что я чуть не засмеялась — нехорошим, на грани, смехом, который лучше задушить, пока он не превратился в то, что душить уже поздно.

— Вода теперь? — спросил он, и я кивнула, потому что галеты встали поперёк горла, и он налил мне в стакан, и протянул, и я взяла. Пальцы наши не соприкоснулись. Он рассчитал ровно так, чтобы не соприкоснулись, и я отметила это тоже, как отмечаю всё, и отметила, что он рассчитал, и стало почему-то досадно.

Мы стояли и пили воду. За стеклом темнел спящий город, расчерченный редкими цепочками фонарей. Где-то очень далеко внизу полз по эстакаде одинокий красный огонёк — машина, живой человек, едущий по своим живым делам, понятия не имеющий, что в стеклянной игле над ним заперты двое и молча грызут галеты.

— Я докажу, что меня подставили, — сказала я тихо, не ему даже, а стеклу. — Не сегодня, так в суде. Не отступлю. Просто чтобы вы знали, на что подписались своим росчерком.

— Я знаю, на что подписался.

— Не знаете. — Я повернулась к нему. — Вы подписали бумажку. Для вас это строчка в стопке кадровых решений за день, одна из многих. А для меня это вся жизнь, восемь лет, всё, что я выстроила сама, без чьей-либо постели и протекции, и вот какой-то человек наверху одной подписью объявил, что я воровка, которая сливает данные конкурентам и ставит после этого жёлтые смайлики. Я не ставлю смайлики, Корнев. Я пишу «ок» без точки и считаю, что это уже неприлично тепло. Вот настолько хорошо вы знаете, на что подписались.

Что-то в его лице сдвинулось. Не смягчилось — именно сдвинулось, тяжело, как сдвигается с места громоздкая мебель: чуть-чуть, со скрипом, и сразу понятно, что дальше так просто не пойдёт.

— Допустим, — сказал он. — Допустим на минуту, что вас и правда подставили. — Он поставил стакан. — Тогда у меня к вам вопрос. Кто-то на этом этаже отрубил связь и лифты ровно в ту ночь, когда вы решили подняться сюда за доказательствами своей невиновности. Кто-то очень не хотел, чтобы вы отсюда вышли с тем, за чем пришли. Вы об этом подумали? Или вы всё это время думали только про мою подпись?

Я открыла рот. И закрыла.

Не подумала. Я была так занята тем, чтобы ненавидеть его, что просто не успела испугаться по-настоящему.

— Это плановое тестирование, — сказала я медленно. — Вы сами сказали. Совпадение.

— Я назначил тестирование три недели назад. — Он смотрел мне прямо в глаза. — А вы пришли сюда сегодня. Случайно. По наитию пьяного айтишника. — Пауза. — Это не моё совпадение, Соколова. И не ваше. Это чьё-то третье.

В кухне стало очень тихо. Не «убавили звук» — наоборот, я вдруг услышала всё разом: ровный, на грани слуха, шелест климат-контроля, скрип камня под его ладонью, собственный пульс где-то у самого горла. И где-то глубоко, под моей злостью и под всем остальным, шевельнулось другое, незнакомое и нехорошее — то самое чувство, что приходит, когда сумма не сходится не оттого, что ты ошиблась, а оттого, что кто-то нарочно подправил цифру.

— Мне нужно вернуться к архиву, — сказала я. — Сейчас. Пока есть аварийный свет.

— Зачем?

— Затем, что вы только что сами всё объяснили. Если кто-то не хотел, чтобы я отсюда вышла, значит, то, за чем я пришла, действительно здесь. И стоит того, чтобы из-за него обеспокоить целую башню.

Я скинула было с одного плеча его пиджак — и тут же передумала, оставила, в зале наверняка было ещё холоднее, — и пошла обратно, мимо острова, мимо него. Он не остановил. Пошёл следом, на полшага позади, и я слышала за спиной его шаги, бесшумные на этих коврах, гасящих всё.

В зале я опустилась на колени перед нижним ящиком, тем самым, который не успела досмотреть, когда он вошёл. Папки, папки, скоросшиватели с тиснёными корешками, годы, индексы. Руки замёрзли и слушались плохо, и я перебирала бумаги быстро, по диагонали, выхватывая взглядом то, к чему привыкла: не своё, не своё, не про меня. Логи доступа должны быть где-то здесь, серверная свалена в одну кучу, Серёжка божился.

И вдруг — не лог. И не про меня вовсе.

Тонкая папка без индекса, не вписанная в общую систему, заложенная между двумя толстыми скоросшивателями так, будто её сунули туда наспех, чтобы спрятать на самом видном месте. Я вытянула её. На обложке от руки, чёрным, всего одна строка и дата — дата полуторагодовой давности, тех самых месяцев, когда основатель холдинга, Аркадий Выюгин, по официальной версии уехал лечиться за границу и пропал из всех новостей. Раскрыла. Первый лист. Второй. Глаза побежали по строчкам, и то небольшое, что я успела прочесть, было настолько не тем — не про активы, не про «Меридиан», а про что-то такое, от чего у меня всё похолодело уже совсем не от воздуха на этаже, —

— что я даже не услышала, как он подошёл вплотную.

Папку выдернули у меня из рук резко, одним движением, так быстро, что край картона обжёг мне пальцы. Я вскинула голову. Корнев стоял надо мной, и в руке у него была эта папка, и впервые за всю ночь на его лице не осталось ничего ровного. Оно было белым.

— Это, — сказал он очень тихо, и от этой тишины у меня по-настоящему пересохло во рту, — вы не видели. Никогда. Вы поняли меня, Соколова?

Глава 6. «Цифры, которые сходятся»

Документ он держал так, как держат предмет, который не собираются возвращать.

Не прятал за спину, не сворачивал — просто отвёл руку чуть в сторону, на уровень бедра, и стоял, и смотрел на меня поверх этого листа, и в позе его не было ни торопливости, ни вины. Так стоит человек, которому принадлежит и лист, и этаж, и башня, и, в общем-то, тот воздух, которым я тут дышала взаймы. Успела выхватить три слова и одну цифру — три слова и цифру, а потом его пальцы, и всё.

— Это не ваше, — сказала я.

— Здесь, — он наконец опустил руку, и лист ушёл во внутренний карман пиджака, не того, который сейчас был на мне, а запасного, второго, у него их, видимо, как у меня было кружек, — здесь, Соколова, нет ничего вашего. Вы вообще-то забрались в чужой сейф.

— Я забралась за тем, что у меня украли.

Он не ответил. Он вообще, я заметила, отвечал примерно на одну реплику из трёх, остальные пропускал сквозь себя и оставлял только то, на что считал нужным реагировать. Это бесило сильнее, чем если бы он спорил: со спорящим ты на равных, а с молчащим разговариваешь сама с собой в пустой комнате и сама же выглядишь душой.

В апартаментах было зябко, и я уже перестала это скрывать — обхватила себя за локти поверх его пиджака. Пиджак пах им, чем-то сухим, древесным, дорогим, и от запаха мне было странно и неуютно, как от чужой подушки в гостинице, где спал кто-то до тебя. За стеклом висела ночь, и старалась в неё не смотреть: от высоты к концу этого дня слегка вело, и держалась взглядом за то, что близко, — за латунную лампу на тумбе, за корешок какой-то книги без названия на обреше, за его руки.

— Хорошо, — сказала я. — Не моё. Тогда давайте я докажу, что и обвинение — не моё.

Он чуть повернул голову. Самую малость. Будто я сказала что-то на неожиданном языке, и он прикидывал, стоит ли утруждаться переводом.

— Докажете.

— Дайте мне десять минут и стол. И всё, что у вас тут есть из канцелярии. Ручка, бумага. — Я слышала, как голос у меня снова становится рабочим, тем, что на собрании, с указкой, и хваталась за него, как за поручень. — Я разложу, на чём меня поймали. И вы, человек, который ворочает миллиардами, сами увидите, сходятся цифры или нет. А если не сходятся, то, может, и приказ ваш не сходится.

Пауза. Он умел ими работать, паузами, как другие — словами; у него молчание не было пустым, у него оно было с весом. Я уже знала: если он молчит, надо просто переждать, не заполнять собой тишину, потому что тот, кто первым полез её заполнять, тот и проиграл.

— Идёмте, — сказал он наконец и пошёл первым, не оглядываясь, уверенный, что я пойду следом.

Я пошла следом. Куда мне тут ещё было идти.

Он вёл меня вглубь этажа по коридору, который гасил шаги толстым ворсом, мимо двери без таблички, мимо ещё одной, и открыл третью. За ней была комната без окон. Я знала, что она здесь есть: об этом шептались в курилках на двадцать втором, мол, на сорок первом есть переговорная без единого окна, глухая, как сейф в сейфе, и там закрывают сделки, о которых потом никто не вспоминает вслух. И вот я была в ней. Овальный стол тёмного дерева, восемь кресел, по стене экран, в углу что-то вроде бара — графин, перевёрнутые стаканы. Воздуха тут было как будто меньше, чем везде, и звук падал мёртво, без отголоска. Зато теплее. Ни одного окна, ни одной щели, в которую утекало бы тепло.

— Тут хоть не дубак, — вырвалось у меня, и тут же разозлилась на себя за это «дубак».

— Климат-контроль завязан на окна. — Он выдвинул кресло, не мне, себе, сел на дальнем конце стола, развернул его вполоборота. — Где стекло в пол, там вечно зябко. Архитектор был гений, но мёрз он, видимо, мало.

Я почти улыбнулась. Почти. Поймала это в себе и придушила на месте: мне сейчас было не до того, чтобы находить его забавным.

Бумага нашлась в ящике под экраном — стопка чистых листов, дорогих, плотных, с водяным знаком в виде той самой вертикали, что светится над каждой кнопкой в башне. Ручка тоже была его, тяжёлая, с приятным холодком металла, и какое-то время просто вертела её в пальцах, не зная, с какого конца взяться за то, что таскала в голове с пятницы. Села не рядом и не напротив, а наискось, чтобы видеть его лицо и при этом не упираться в него взглядом. Расправила перед собой первый лист. Поддержала над ним ручку.

А потом начала.

— «Меридиан», — сказала я и написала сверху это слово, печатными, как заголовок. — Дочернее девелоперское. Строит премиум, три объекта в работе. Я туда вообще не должна была лезть, это не мой сектор, мне выгрузку прислали по ошибке, в одной папке с моим портфелем. Открыла от скуки, в пятницу, уже в пальто.

— И?

— И зацепилась.

Я вела линию. Рисовала коробочки — подразделение, подрядчик, ещё подрядчик, прошлойка. Соединяла стрелками. Объясняла на ходу, и руки сами знали, что делать, пока голова едва поспевала за ними: вот головная компания заказывает работы у подрядчика, нормально, обычное дело; вот подрядчик нанимает субподрядчика, тоже бывает; а вот субподрядчик — фирма, зарегистрированная за два месяца до сделки, без истории, без людей, с уставным капиталом, на который не купишь приличную машину, и через эту фирму проходит сумма, на которую можно купить квартал.

— Деньги уходят на работы, которых нет, — сказала я. — Точнее, они есть. На бумаге. Акты подписаны, всё гладко. Но если свести объёмы, вот тут, — я постучала ручкой по одной из коробочек, — выходит, что эта милая фирма из трёх человек за квартал залила столько бетона, сколько мой родной двадцать второй этаж не выпьет кофе и за год. Физически невозможно. А цифра стоит. Акт подписан. Деньги ушли.

Он молчал. Но это было уже другое молчание, я слышала разницу. Он встал — когда успел, я не заметила — и подошёл ближе, и теперь стоял над столом, опершись о него двумя руками, и смотрел на мои коробочки и стрелки сверху вниз. Близко. От него шло тепло, оно было ошутимее, чем тепло этой глухой комнаты, и я заставила себя не отодвигаться и не наклоняться, а сидеть ровно, как сидела.

— Дальше, — сказал он. Тихо.

— Дальше самое интересное. — Я потянула новый лист. — Деньги ушли субподрядчику, субподрядчик отдал их дальше, ещё одной такой же пустышке, та — третьей. Классическая прачечная, в учебниках видела, но живьём — впервые. И на третьем кольце след обрывается, потому что последняя фирма аккуратно ликвидирована. Концы в воду. — Я подняла на него глаза. — Только концы не в воду. Я их вытащила.

— Как.

Не вопрос. Приказ узнать.

— По людям. — Я почти засмеялась, потому что это и правда было смешно, до чего глупо они попались. — Фирмы пустые, а подписи живые. И на актах, и на учредительных мелькают одни и те же три фамилии. Номиналы. Подставные. Один из них, представьте себе, ещё и водитель — числится водителем в одной из структур холдинга и одновременно генеральный директор фирмы, через которую утекли сотни миллионов. Человек кого-то возит на работу и параллельно ворочает кварталом. Талант.

Я ждала, что он усмехнётся. Он не усмехнулся. Он смотрел на фамилию, которую я обвела на листе, и лицо у него становилось — нет, не злым, злость я бы поняла, — оно становилось очень внимательным и очень неподвижным, как у человека, который услышал в ровном шуме мотора звук, которого там быть не должно.

— Покажите дату, — сказал он.

— Какую?

— Когда зарегистрирована первая фирма. Та, пустышка.

Я показала. Он смотрел на дату дольше, чем нужно, чтобы её прочесть, и вдруг поймала себя на том, что вижу это второй раз за сегодня — как человек смотрит на цифру дольше, чем требуется. Утром так смотрела я, в стеклянном аквариуме у кадровички, на дату чужой переписки. Теперь он. И от этого совпадения мне сделалось не по себе.

— И при чём тут я? — Я вернула нас обоих обратно, к делу, потому что от его лица мне было неуютно. — При том, что в пятницу подняла этот вопрос. Не громко, не в лоб. Просто пошла посоветоваться к одному человеку. К тому, кто, как мне казалось, в этом разбирается и подскажет, куда нести. Я ему всё показала. Вот это вот всё, — я обвела рукой свои листы. — В пятницу вечером. А в понедельник утром у моего стола стояла коробка, охрана и ваша подпись. — Я откинулась в кресле и впервые за весь этот рассказ позволила себе посмотреть ему прямо в глаза. — Совпадение, да? Случайно нашла, как из холдинга выводят деньги. Случайно пошла с этим к человеку. И меня случайно уволили за выходные, с волчьим билетом, по статье, после которой я уже не отмоюсь. Три случайности в три дня. Я аналитик, господин Корнев. В такие совпадения профессионально не верю.

Он не ответил сразу. Выпрямился. Отошёл на шаг от стола, потом ещё на шаг, к стене с экраном, и стоял ко мне спиной, и я видела только его плечи, затылок и эту неподвижность, в которой что-то происходило. Я молчала. Научилась за этот вечер: его паузы надо переживать молча.

— Кому вы показывали, — сказал он, не оборачиваясь. — Фамилию.

— А вот это я вам не скажу.

Он обернулся. Медленно.

— Не скажете.

— Нет. — Я тоже встала, потому что сидеть, когда он стоял и смотрел так, — значило отдавать ему лишние сантиметры, а я их отдавать не собиралась. — Потому что я вам пока не доверяю, представьте себе. Вы для меня — человек, чья подпись стоит под моим уничтожением. Может, вы и есть тот, кому это всё выгодно. Может, вы прямо сейчас стоите тут и аккуратно выясняете, что именно я успела раскопать и кому проболтаться, чтобы знать, какие ещё концы подчистить. С вас станется. Я отдам вам имя, а наутро не станет и этого человека, и моего единственного свидетеля.

Я говорила это и сама слышала, как звучит, — резко, через край, по-хамски говорила с совладельцем холдинга на его этаже в его час. Утром я мечтала именно об этом — посмотреть, как он дышит, когда напротив одна я. Вот, смотрела. А внутри почему-то было не торжество, а что-то вроде испуга пополам с упрямством, и упрямство пока выигрывало.

Он не вспыхнул. Конечно, не вспыхнул, я уже поняла, что он не из тех, кто повышает голос: чем тише он говорил, тем, кажется, хуже было дело.

— Логично, — произнёс он, и это было последнее, чего я ждала. — Я бы на вашем месте тоже не сказал.

Он подошёл обратно к столу. Взял один из моих листов — тот, с прачечной, с тремя фамилиями, — и держал его теперь не как добычу, а как держат документ, который придётся проверять и который, кажется, не врёт. И что-то в том, как он его держал, сказало мне больше всех слов за вечер: он мне поверил. Не до конца, не во всём, но в главном поверил. Не потому

что я красиво плакала — не плакала я. Потому что цифры сошлись. Он единственный за весь сегодняшний день посмотрел не на статью в моей трудовой, а на то, что я умею.

— Знаете, что самое неприятное, Соколова, — сказал он, глядя на лист, а не на меня. — Эту схему я уже видел. Не эти фирмы. Почерк. Так уже выводили, лет восемь назад, из другого нашего контура. Тогда мы списали это на двух жадных дураков среднего звена, поймали их, выгнали, забыли. — Он поднял на меня глаза. — А почерк, выходит, не их был. Дураков-то поменяли. А рука осталась.

Я молчала. По этому «лет восемь назад» и «рука осталась» у меня уже бежали свои стрелки и коробочки, не могла остановиться, голова сама достраивала схему, в которой одно подразделение, другое, восемь лет, одна рука где-то наверху — в круге настолько узком, что в него входил и тот, кто стоял сейчас напротив меня.

— Вы понимаете, что вы сейчас сказали? — тихо спросила я. — Что это кто-то из ваших. Из самого верха. Из тех, кто восемь лет назад уже мог так делать и кого тогда не тронули.

— Я понимаю, что я сказал.

— И вам не страшно говорить это мне? Уволенной аналитичке, которую вы заперли тут случайно?

Он смотрел на меня долго. И вот тут, впервые за весь вечер, в его лице что-то изменилось по-настоящему — не злость, не усталость, а что-то живое и почти беззащитное проступило на секунду из-под брони и тут же спряталось обратно. Но я успела заметить. Я это умею, замечать то, что мелькает на секунду.

— А вам не приходит в голову, Соколова, — сказал он, — что мне страшнее не сказать? — Он положил лист на стол, ровно, разгладил ладонью. — Я подписал ваше увольнение не глядя. Между двумя совещаниями, в пачке из сорока бумаг. Мне принесли папку, сказали «слив конкуренту, всё подтверждено», я расписался и забыл через минуту. Так это работает наверху. Мне приносят готовое, я визирую. Я не читаю даты на чужой переписке, у меня нет на это времени, для этого у меня есть люди. — Он сделал паузу, и она была другая, чем все прежние, в ней не было оружия, в ней было что-то вроде трещины. — А теперь выходит, что одному из этих людей очень удобно подкладывать мне готовое. И что моя подпись стоит на чужой подлости уже неизвестно сколько раз. Так что нет. Мне не страшно говорить это вам. Мне впервые за долгое время не страшно сказать это хоть кому-то.

В комнате без окон было очень тихо. Я слышала, как у меня самой стучит в висках.

И вот тут до меня по-настоящему дошло, не умом — умом я это поняла ещё час назад, — а как-то иначе, целиком: он не мой палач. Я весь день несла его в голове как лицо системы, как ту самую руку, что в очередной раз взяла моё без спроса, поднималась сюда ненавидеть конкретного человека. А человек, оказывается, был такая же пешка, как я, только пешка очень большая и очень дорогая, которой подсунули готовую бумагу, и она расписалась не глядя, потому что наверху так заведено. Его обвели вокруг пальца моими руками. Нас обоих обвели — одной и той же рукой, в один и тот же день.

Мне бы радоваться. Союзник, у которого власть, доступ и мотив. А мне почему-то было тошно и зябко, и зябко не от климат-контроля.

— Значит, нас двое, — сказала я тихо.

— Похоже на то.

— Я не хотела союзника. Я хотела доказательство и спокойно уйти.

— А я не хотел проводить ночь, выясняя, что мне восемь лет подкладывают на подпись чужую грязь. — Он почти усмехнулся. Почти. — Мы оба сегодня получили не то, за чем пришли, Соколова.

Я опустила глаза на свои листы, на коробочки, стрелки, обведённые фамилии, на всю эту схему, которая час назад была моим единственным щитом, а теперь стала чем-то гораздо

большим и гораздо опаснее. Где-то под этими стрелками сидел человек, который ради того, чтобы я молчала, не пожалел ни денег, ни чужой подписи, ни меня самой.

И, видимо, Дамир думал о том же, потому что сказал — медленно, разглядывая ту фирму, что была зарегистрирована за два месяца до сделки и ликвидирована аккуратно после:

— Дату я вам не зря спрашивал. Знаете, что это за день? — Он не стал ждать ответа. — В этот день половина совета была за границей. На форуме. Кроме одного. Того, кто остался присматривать за контуром.

Он не назвал имени. Я не спросила. Между нами на столе лежал лист, и мы оба смотрели на него так, будто на нём уже стояла чья-то фамилия, хотя её там не было.

— Если ты права, Соколова, — сказал он, и я не сразу заметила, что он впервые сказал «ты», просто оно проскользнуло, без перехода, само, как проскальзывает то, что давно вертелось на языке, — а ты, похоже, права, то получается одна очень неприятная вещь. Кто-то очень не хотел, чтобы ты вообще дожила до этого этажа.

Я открыла рот, чтобы ответить.

И в эту секунду погас свет.

Не мигнул, не сел постепенно — погас разом, как отрубленный, и аварийное табло над дверью, тускло-красное, единственное, что тут ещё теплилось, захлебнулось и умерло следом. Темнота навалилась такая полная, без единой щели, какая бывает только в комнате без окон, на сорок первом этаже, в башне, отрезанной от мира. Я не видела ни своей руки, ни стола, ни его. Ничего. Только слышала, совсем рядом, ближе, чем думала, его дыхание — и то, как он очень тихо, очень ровно произнёс в темноту, в которой нас теперь было по-настоящему двое:

— Не двигайся.

Глава 7. «Разговоры в темноте»

Темнота на сорок первом этаже оказалась не такой, как везде.

Всю жизнь думала, что знаю, что такое темнота. Дома это когда выключаешь ночник и пару минут ждёшь, пока из черноты медленно проступят знакомые углы — шкаф, дверь, серый прямоугольник окна, — и комната тихо собирается обратно из своих частей. А здесь проступать было нечему. Аварийный свет умер беззвучно, без щелчка, без предсмертного мигания, просто перестал быть — и вместе с ним перестали быть стены, перестал быть пол под ногами, перестало быть всё, кроме одного: огромного провала окна от потолка до самого ковра, за которым висел город. Не схема, не россыпь точек, а низкое, мутно-оранжевое свечение, какое стоит над любым большим городом в облачную ночь, отражённое в нависшем небе так, будто кто-то развёл там, за стеклом, гигантский костёр и прикрыл его сверху крышкой. От этого свечения в зале было ровно столько света, чтобы видеть, что напротив кто-то есть, и ровно столько темноты, чтобы не видеть, кто именно.

— Стойте на месте, Соколова.

Голос пришёл слева и чуть сзади, оттуда, где минуту назад была переговорная. Ровный. Без тени паники — будто отключение света входило в его планы на вечер и даже слегка запаздывало против расписания.

— Я и стою.

— Не двигайтесь. Здесь стеклянный стол на пути и две ступени к нише. В темноте свернёте шею, а я не собираюсь объяснять утру, как мёртвый аналитик попал на закрытый этаж.

— Трогательно. — Я не двигалась, это была чистая правда, но не из послушания, а потому что он был прав про ступени, я их помнила, и злилась, что помню. — Значит, всё-таки утром нас отсюда достанут.

— Достанут. — Шорох ткани, шаги по толстому ковру, глухие, без эха — ковёр здесь и вправду гасил всё, что по нему ступало. — Когда наладят систему. Тест прогоняют до утра. До тех пор мы с вами в самом дорогом и самом бесполезном помещении города.

Где-то рядом скрипнула кожа дивана под его весом. Постояла ещё немного, дура дурой, посреди невидимой комнаты, держа спину прямо для человека, который меня всё равно не видел, — а потом на ощупь, мелкими шажками, выставив перед собой руку, добралась до того же дивана и опустилась на дальний край. Между нами осталось расстояние, которое я отмерила вслепую, по наитию, и которое мне самой тут же показалось слишком уж почтительным к человеку, подписавшему мой приговор. Подвинуться обратно было бы глупо и заметно. Так и осталась как села.

Холод подбирался снизу, от пола, через тонкие подошвы туфель, которые я надевала под рабочий костюм, а не под ночёвку в стеклянном сейфе. Пиджак, который он молча накинул мне на плечи ещё днём, грел спину, но ступни уже превратились в две отдельные замёрзшие проблемы, и я подтянула ноги под себя, поджалась, обхватила колени руками. Желудок тоскливо напомнил, что последним, что в нём вообще побывало, был тот самый утренний кофе, тёплый с одного бока. Это было давно. В какой-то другой, ещё работающей жизни.

— У вас тут найдётся хоть что-нибудь съедобное? — спросила я в темноту. — Или совладельцы холдинга питаются исключительно страхом подчинённых?

Пауза. Я уже немного привыкла к его паузам — он держал их не от растерянности, а так, как держат руку на весу перед тем, как опустить её куда задумано.

— На кухне был чай. И вроде бы печенье.

— «Вроде бы».

— Я здесь не живу, Соколова. Вопреки легенде.

Он поднялся, и я услышала, как он идёт через зал — уверенно, не задевая ни стеклянного стола, ни ступеней, человек, который и в полной темноте знает на этом этаже каждый сантиметр. Это сказало мне о нём больше, чем всё, что я успела про него насочинять за день. Так двигаются только по совсем своей земле. Я сидела, обняв колени, слушала, как он что-то нашаривает на кухне, как звякает посуда, как шумит, набираясь, вода, — значит, питание кухни и кулера идёт по отдельной линии, машинально отметила я, по дурной привычке всё считать и сводить, — и думала о том, до чего нелепо в итоге устроилась моя жизнь. Из тысячи способов провести вечер пятницы я выбрала, пожалуй, самый изобретательный.

Вернулся он не сразу. Поставил что-то на низкий столик между нами — звякнуло стекло о металл. Термос, нащупала я рукой. Большой, тяжёлый, старого, ещё советского вида, с круглой завинчивающейся крышкой-стаканом.

— Чай, — сказал он. — Без сахара, сахара нет. И вот это.

В мою ладонь, найдя её в темноте безошибочно, лёг плоский шуршащий пакет. Печенье. Разорвала упаковку, не чинясь, и первое печенье съела почти целиком, прежде чем вспомнила, что тут вообще-то держу оборону и мне по роли полагается гордость. Гордость в темноте, на голодный желудок, в чужом пиджаке оказалась продуктом на удивление скоропортящимся.

Он отвинтил крышку, налил в неё чай и протянул мне через столик. Обхватила стакан обеими ладонями, и тепло пошло в пальцы так остро, почти больно, что я зажмурилась — хотя жмуриться в темноте отдельный сорт идиотизма.

— Пейте. Стакан один.

— То есть пить мы будем из одного стакана.

— Если только вы не предпочитаете прямо из термоса. — В голосе впервые за весь вечер проступило что-то почти живое, сухое, на самом доньшке. — Не настаиваю.

Я отпила. Чай был крепкий, горький, обжёг язык — и был при этом лучшим, что мне доставалось пить за последние года три. Вернула ему стакан наугад, в темноту, и наши пальцы столкнулись на горячем металле, коротко, и оба мы отдёрнули руки чуть быстрее, чем того требовала простая передача стакана.

Какое-то время мы просто молчали. Не враждебно — просто двое уставших людей в темноте, делящих один стакан и один пакет печенья на двоих. За окном медленно проплывал в облаках красный огонёк самолёта, заходящего на посадку где-то очень далеко, в нормальном мире, где у людей есть рейсы, ужины, кровати и кто-то, кто их встречает. Я следила за этим огоньком, пока он не растворился, и поймала себя на том, что мне почему-то спокойнее, чем должно бы быть человеку в моём положении. Темнота, оказывается, уравнивает. В темноте он не совладелец, а я не уволенная; в темноте есть только два голоса и один тёплый стакан, который ходит между ними туда и обратно.

— Можно вопрос, — сказал он, и я удивилась самому слову «можно» в его устах. — Зачем вы вообще в это полезли. В «Меридиан». Аналитик вашего уровня прекрасно знает, чем кончаются такие находки. Вы увидели цифры в пятницу вечером, одной ногой уже за дверью. Могли закрыть файл и спокойно уйти домой. Никто бы и не узнал, что вы вообще туда заглядывали.

— Могла.

— И?

Я молчала, перекатывая в пальцах край пиджачного рукава — его рукава, ткань дорогая, плотная, прохладная снаружи и хранящая чужое тепло внутри. В темноте такое говорить легче. Лица не видно, реакции не видно, и кажется, что говоришь не человеку, а самой ночи, а наутро при желании всё можно будет списать на ночь.

— У меня уже один раз отняли мою работу, — сказала я. — Давно. Четыре года назад. Сидела тогда до ночи над одним анализом — большим, сложным, я в нём месяца два жила, не вылезала. И был человек, который приносил мне кофе, называл умницей и говорил, что мы

команда. — Я усмехнулась в темноту, и усмешка вышла не злая, а просто усталая. — Отдала ему черновик. Доверилась. На «команду» купилась, дура. А он стёр мою фамилию, поставил свою, отнёс наверх и ушёл на повышение. И потом, на лестнице, улыбнулся мне так, знаете, по-доброму. Как сообщник сообщнику.

Он не сказал ничего. Но темнота со стороны его края дивана как-то загустела, стала внимательной — я это чувствовала, не понимая чем именно.

— С тех пор, — продолжила я, и голос держался ровно, цифры держат меня даже там, где речь совсем не про цифры, — у меня простое правило. Нашла что-то — фиксирую сама, под своим именем, сразу, при свидетелях, чтобы уже нельзя было ни стереть, ни переписать. Вот зачем я полезла в «Меридиан», господин Корнев. Не из принципа и не из гражданского долга. Из жадности. Это была моя находка. Моя. Не собиралась её опять кому-то дарить.

— И в итоге её у вас всё равно отняли. Вместе с именем.

— В итоге да. — Я нашарила в темноте стакан, отпила ещё, передала обратно. — Выборка из двух наблюдений. Оба легли в одну точку.

Он держал стакан, но не пил. Я слышала его дыхание — ровное, но всё-таки не такое ровное, как голос; голос он умел держать намертво, а дыхание нет, и в дыхании было сейчас что-то, чего он мне не говорил и говорить не собирался.

— У меня тоже был один человек, — произнёс он наконец. Медленно, с большими промежутками, будто каждое слово сначала проверял на прочность, прежде чем поставить на него вес и ступить дальше. — Который меня вытащил. Один раз. Тогда, когда вытаскивать было, в общем, уже почти нечего и некого.

— Кто?

Пауза. Долгая. Где-то на дальней башне за окном мерно мигал красный сигнальный огонь, раз в две секунды, ровно, как чужое спокойное сердце, которому до нас нет никакого дела.

— Неважно. — Он наконец отпил, и я услышала, как он сглотнул. — Важно, что я знаю, как это бывает. Когда тебе один раз протянули руку по-настоящему, без счёта и без условий. И как потом всю оставшуюся жизнь ждёшь за это подвоха — потому что не веришь, что бывает просто так, без счёта.

Я повернула голову на голос. Бесполезно — там была только темнота чуть гуще обычной да форма плеча, угаданная скорее по более тёмному пятну на тёмном. Но я смотрела туда, куда смотрят на живого человека, и понимала, что он только что приоткрыл мне дверь на сантиметр и сам же испугался сквозняка из щели.

— Это вас тоже кто-то обокрал? — тихо спросила я.

— Нет. — Слово упало коротко, жёстко, и дверь за ним закрылась. — Меня не обокрали, Соколова. Со мной поступили хуже. Но это не ваша история, и вам её знать незачем.

— А мою, значит, спросить было можно.

— Вашу вы рассказали сами.

Он был прав, и от его правоты во мне поднялась глухая, бессильная досада — на него, на себя, на эту темноту, в которой я так легко раскрылась перед человеком, раскрываться в ответ не намеренным. Я нашарила на краю столика плед — он принёс его раньше, заодно с термосом, толстый, шерстяной, пахнувший чем-то нежилым, кедром и пылью запертого шкафа, — и набросила на ноги. Холод от пола сразу стал глуше, дальше. Плед оказался большой, явно мужского размера, и край его, потянувшись следом за моим движением, сполз с колен в сторону его края дивана.

— Замёрзли, — сказал он. Не вопрос.

— Я аналитик, господин Корнев, а не белый медведь. У меня самая обычная теплопроводность.

— Накройтесь нормально. Плед один.

— Опять «один».

— У нас тут вообще всё в единственном числе. — И снова это сухое, на доньшке, едва различимое в голосе. — Кроме проблем. Проблем две, и обе сидят на этом диване.

Я фыркнула, неожиданно для самой себя, в темноту — короткий смешок, вырвавшийся прежде, чем я успела решить, можно ли мне вообще смеяться над шутками человека, который разрушил мне жизнь. Оказалось, можно. И тут темнота снова пришлась кстати: смеёшься — а никто не видит, что смеёшься, и при желании потом можно сделать вид, что это был кашель.

Мы расправили плед на двоих. Вышло не сразу и совсем не изящно — в темноте, на ощупь, мы оба тянули его каждый на свою сторону, и плечи под общей шерстью оказались ближе, чем были весь этот вечер, и теперь я чувствовала уже не только холод снизу, но и тепло сбоку, ровное, чужое, идущее от него сквозь два слоя одежды и сквозь всю мою выстуженную решимость держать дистанцию. Я смотрела прямо перед собой, в оранжевое марево за стеклом, и старательно думала про логи доступа, про метаданные, про то, что завтра, если оно будет, это завтра, разберу с ним досье построчно и докажу свою правоту. Думать про логи доступа было безопасно. Лог доступа не пахли кедром и не дышали рядом со мной в темноте, медленно и тепло.

— Соколова.

— М-м.

— Та переписка. Двенадцатое марта, два часа дня. — Он говорил тихо, и тишина этажа ловила каждое его слово и не отпускала. — Если вы и правда в это самое время докладывали в переговорной при двенадцати свидетелях — это можно поднять. Журнал бронирования, логи входа, записи с камер коридора. Всё это есть. Здесь. — Он помолчал. — Я не говорю, что верю вам. Я говорю, что это проверяемо.

Я повернулась к нему — впервые за весь разговор резко, всем корпусом, так что плед натянулся между нами и потянул его за плечо.

— Так проверьте.

— Утром. Когда дадут систему.

— Зачем ждать утра, если вы уже сомневаетесь? — Я подалась ближе, и теперь между нами было меньше ладони — поняла это по тому, что лицу стало теплее от его близости. — Вы ведь сомневаетесь, господин Корнев. Я слышу. Вы человек, который, не глядя, подписывает приговоры, — и вдруг считаете чужие даты вслух, в темноте, по памяти. Так не делают те, кто уверен.

— Я ничего не считаю.

— Считаете. Вы только что назвали мне три источника, которые меня оправдают. Уверенный человек просто не помнит, где у него лежит то, что докажет его неправоту.

В темноте что-то сдвинулось. Не звук — звука я не услышала никакого. Сдвинулось дыхание. Оно стало тише и одновременно ближе, и я с опозданием поняла, что в споре, как всегда со мной бывает, перестала следить за расстоянием, что наклонилась к нему вся, целиком, что моя рука, которой я опиралась о диван между нами, лежит уже на плече — и под пледом, под шершавой шерстью, пальцы касаются вовсе не дивана.

Его пальцев.

Я не знаю, кто к кому потянулся. Может быть, никто. Может быть, плед стянул нас друг к другу сам, по простым законам физики и тесноты. Рука у него была тёплая — куда теплее моей, у него вообще, кажется, всё тело работало на пару градусов выше нормы — и совершенно неподвижная. Он не сжал мою ладонь. Не отдернул свою. Просто оставил всё как было: его пальцы под моими, моё дыхание сбившееся, его — притихшее, осторожное, и между нами темнота, в которой нет ни лиц, ни статусов, ни подписанных приказов, а есть только два живых тепла, нашедших друг друга вслепую, на ощупь, под чужим пледом.

Я должна была убрать руку. Совершенно точно знала, что должна. Я ведь выстроила про этого человека простую и правильную схему: лицо системы, чужая подпись на моей казни, враг, у которого я по необходимости выторговываю себе ночь и доказательства. В этой аккуратной схеме не было графы для тепла его пальцев под моей ладонью. Не было графы для того, как у меня вдруг перехватило в горле — и совсем не от страха.

Я не убрала руку.

И он не убрал свою. Мы так и сидели, не двигаясь, целую вечность, которая по часам была, наверное, несколько секунд, и за окном всё мигал тот чужой красный огонь, раз в две секунды, исправно отмеряя эти секунды за нас, потому что сами мы считать перестали — оба.

А потом он заговорил. И голос у него был уже не тот, которым гасят залы на тысячу человек. Не ровный. Не оружие. Низкий, чуть хриплый, едва слышный поверх тишины этажа, и в нём была не угроза — в нём была просьба, которую он ненавидел в себе ровно настолько, насколько не мог не произнести.

— Не делай так.

Не «не делайте». Не «Соколова».

Так.

И я поняла — там, в темноте, держа ладонь на руке человека, которого по всем правилам должна была ненавидеть, — что самое страшное на этом этаже вовсе не то, что мы заперты тут до утра.

Самое страшное — что я не хочу убирать руку.

Глава 8. «Кто подписал приговор»

Аварийный свет дали под утро — не весь, а скупой, дежурный, какой включается в подземных парковках после полуночи: вдоль плинтуса по периметру зала загорелась тонкая холодная линия, ровно настолько, чтобы человек не свернул себе шею в темноте, и ни ватта сверх того. От этого света всё в зале сделалось плоским и серым, как старая фотография, забытая в ящике стола и выцветшая там до того, что уже не разобрать лиц. Просидела в кресле у окна то ли час, то ли три — счёт времени потеряла где-то между той секундой, когда наши руки встретились на пледе, и той, когда отдёргнула свою и сказала себе, что мне это приснилось, что в темноте всё кажется не тем, чем оно есть.

Он не сказал тогда больше ничего. «Не делай так» — и тишина, в которой каждый из нас лежал на своей половине этой проклятой темноты и старательно делал вид, что спит, и оба, я думаю, понимали, что другой не спит тоже.

Спать я и не спала. Затекла шея, под лопаткой тихо ныло, во рту стоял тот сухой картонный привкус, который остаётся после бессонной ночи и которого не смыть никакой водой. Встала, прошлась по залу — просто чтобы размять ноги и не сойти с ума от собственных мыслей, ходивших по одному и тому же кругу, — и обнаружила, что Дамира уже нет на диване. Плед, которым мы делились, был сложен. Не скомкан, не сброшен на пол, а именно сложен — ровным прямоугольником, углами к углам, как складывают бельё горничные в дорогих гостиницах. Зачем-то постояла над этим пледом дольше, чем он того стоил. Человек, который посреди ночного апокалипсиса находит в себе силы и присутствие духа сложить плед по углам, — это либо очень собранный человек, либо очень несчастный, а я пока не знала, какой из двух, и не была уверена, что эти двое вообще исключают друг друга.

Свет горел из соседней комнаты — той самой, куда он вчера выхватил у меня из рук документ, который я не успела дочитать. Кабинет. Кабинет основателя — это я поняла ещё вчера по тому, как Дамир туда входил: не как в чужое помещение и не как в своё, а как входят в комнату давно умершего родственника, где всё оставлено на местах и трогать ничего нельзя.

Я подошла к двери и остановилась на пороге.

Он стоял у длинного стола тёмного дерева, без пиджака — пиджак, мой ночной плед на плечах, теперь висел на спинке стула, — в одной рубашке с закатанными до локтя рукавами, и раскладывал перед собой бумаги. Не передо мной — перед собой. Но в том, как он их разложил, веером, лицом вверх, развернув от себя к пустому краю стола, было что-то от человека, который заранее знает, что у него будет зритель, и готовит этому зрителю место.

— Не спится, Соколова?

Он не обернулся. Просто знал, что я стою в дверях, — то ли услышал шаги по ковру, то ли почувствовал спиной, как чувствуют сквозняк из приоткрытой форточки.

— Тут не курорт, — сказала я. — Не на что было рассчитывать.

— Зайдите.

Не «зайди», а «зайдите». За ночь мы откатились обратно на «вы», как будто та темнота, и плед, и его тихое «не делай так» случились вовсе не с нами, а с какими-то другими, более слабыми людьми, от которых мы оба наутро тихо открестились, не сговариваясь. Меня это, как ни странно, даже устроило. На «вы» проще держать спину прямо.

Я зашла. На столе лежало моё дело.

Узнала его сразу — по своей же фотографии с прошлогодного пропуска, той самой неудачной, которая теперь, кажется, будет преследовать меня до самой пенсии, которой у меня, судя по записи в трудовой, и не будет. Распечатки переписки. Скриншоты. Заключение службы безопасности на бланке с гербовой шапкой холдинга, набранное казённым шрифтом, от которого даже у невинного начинают потеть ладони. Всё то, что мне вчера показывали на мони-

торе в стеклянном аквариуме отдела кадров и не дали в руки, — лежало здесь, бумажное, тёплое от настольной лампы, в нескольких сантиметрах от моих пальцев.

— Откуда это у вас?

— Я за этим сюда и поднялся. — Он наконец повернулся. Лицо у него было серое, как этот свет, под глазами легли тени, которых вчера ещё не было, но голос звучал ровно, без единой трещины. — После того как подписал ваш приказ, я обнаружил, что не помню вашего лица. Совсем не помню. Подписал — и не помню, кого именно подписал. — Он чуть склонил голову набок. — Меня это, знаете ли, начало раздражать. Не привык.

— Какое горе.

— Я подписываю в день до сорока кадровых решений, Соколова. Назначения, увольнения, переводы, премии, выговоры. — Он говорил негромко, и от этой негромкости каждое слово ложилось точно, как монета в столбик, одна на другую, ровно. — Я не помню лиц. Я доверяю тем, кто кладёт мне бумаги на стол, потому что иначе я бы утонул в проверке каждой запятой и не успевал бы делать ничего другого. Это называется делегирование. На нём, в общем, стоит вся башня.

— А ещё это называется — подписать человеку приговор не глядя.

Я ждала, что он огрызнется. Что задавит меня паузой, как умеет, — я уже успела изучить эту его манеру: замолчать так, чтобы собеседник от неловкости заполнил тишину чем-нибудь глупым и сам себя в этой тишине утопил. Но он не задавил. Он посмотрел на разложенные бумаги, потом перевёл взгляд на меня и сказал — тихо, буднично, без всякого нажима, как говорят то, в чём давно себе признались:

— Да. Именно так. — И, помолчав: — Покажите мне, где я ошибся.

Вот это меня сбило.

Я ведь готовилась к войне. Полночи, лёжа в темноте, репетировала эту войну во всех подробностях: как он будет упираться, как буду пробивать его стену цифрами, по одной, методично, как он, наконец, дрогнет и признает. А он взял и убрал стену сам, без боя, отошёл в сторону и сказал: покажите. И осталась стоять с разбегу, с уже занесённым кулаком, готовая бить в то самое место, где только что была глухая дверь, а теперь оказался пустой проход, и бить, выходит, не во что.

— Воды у нас нет, чая нет, — сказала я зачем-то, лишь бы что-нибудь сказать. — А мне надо чем-то занять руки, когда я думаю. Привычка.

— В тумбе слева бутылка. Тёплая.

Открыла тумбу и нашла бутылку. Вода и правда была тёплая, противная, отдавала пластиком, но отпила несколько глотков, и от того, что во рту перестало быть так картонно, в голове и вправду чуть прояснилось. Подошла к столу и встала рядом с ним — ближе, чем встала бы вчера, и заметила, что встала ближе, и тут же отметила про себя, что замечаю такие вещи, и велела себе наконец перестать вести этот идиотский внутренний протокол и заняться делом.

— Дайте скриншоты переписки. Не заключение, а именно скриншоты. С шапкой, где видно дату и время отправки.

Он подвинул ко мне три листа.

И вот тут я перестала быть уволенной аналитичкой с волчьим билетом и снова стала собой — той, что читает чужие документы так, как другие читают по губам. Руки сами легли на бумагу, спина выпрямилась, в груди стало пусто и ясно, как бывает, когда наконец берёшься за дело, которое умеешь. Это единственное место на свете, где я никогда не теряюсь. Дайте мне выгрузку, скриншот, балансовую строку, столбик цифр, в котором что-то не сходится, — и я дома, я у себя, я знаю, что делать.

— Двенадцатое марта, четырнадцать ноль три, — начала я. — Вот это сообщение, где я будто бы пересылаю выгрузку в «Аркаду». Двенадцатого марта в два часа дня я стояла в большой переговорной на двадцать втором с указкой в руках и докладывала по портфелю.

Двенадцать свидетелей, журнал бронирования. Я это вчера уже говорила — и это, к слову, ничего не доказывает, потому что переписку с моего аккаунта могли вести удалённо, с любого устройства, пока я там размахивала указкой. Так что про указку забудьте, я и сама о ней забыла.

— Уже забыл.

— Смотрите вот сюда. — Ткнула ногтем не в сам текст сообщения, а в самый верх скриншота, в служебную строку, на которую нормальный человек не смотрит вообще никогда в жизни. — Видите эту строчку? Время отправки — четырнадцать ноль три. А вот тут, в углу, совсем мелким, — техническая отметка клиента. Версия мессенджера. Номер сборки.

Он наклонился над листом. Близко. Я ощутила тепло, идущее от него, — живое, чужое, совершенно неуместное в этом холодном кабинете тепло, — и заставила себя смотреть только в бумагу, на цифры, потому что цифры меня никогда не подводили, а всё остальное — сколько угодно.

— И что я должен здесь увидеть, Соколова?

— Эту сборку клиента раскатали на весь холдинг двадцатого марта. Двадцатого, не раньше. Я помню точно, потому что в тот день у нас полдня лежала вся почта, айтишники в открытую матерились на весь этаж, а Серёжка из техподдержки носился между боксами с таким лицом, будто рухнул сервер с зарплатами. — Выпрямилась и впервые за всё утро посмотрела ему прямо в глаза. — А это сообщение якобы отправлено двенадцатого. С той версии клиента, которой двенадцатого марта попросту ещё не существовало в природе. Понимаете? Тот, кто это собирал, лепил переписку задним числом, уже после двадцатого, и где-то поленился — или не сообразил, или просто не знал такой мелочи, — выставить дату пораньше, до выхода сборки. Метаданные не бьются с датой. Это не переписка. Это монтаж.

В кабинете стало очень тихо. Не та тишина, которой он давит, — другая, настоящая, в которой человек переваривает то, после чего нельзя жить, как прежде.

— Покажите ещё раз, — сказал он. — Только медленно.

И я показала. Медленно, лист за листом, строку за строкой, тыча ногтем в каждую служебную отметку, проговаривая каждую цифру, как проговаривают условие задачи нерадивому ученику. Он слушал, не перебивая ни единым словом, и я видела по его лицу — не по каким-то там подвижным чертам, у этого человека их словно вырезали разом и навсегда, а по чему-то в самих глазах, по тому, как он всё реже моргал, — что он не ищет, чем бы мне возразить. Он ищет то место, где он сам, своими глазами, прошёл мимо.

— Я экономист по первому образованию, — сказал он наконец, очень ровно. — Не айтишник. Я бы это не поймал.

— Этого и не должны были поймать. Именно на это и был весь расчёт. — Отложила лист в сторону. — Расчёт на то, что бумагу подмахнут сверху не глядя, потому что внизу всё красиво оформлено, ровные абзацы и гербовая шапка. И на то, что я буду орать «это не я» без единого доказательства на руках, и меня спишут как обычную истеричку. Чисто сработано. Дорого и чисто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.